Рисунок Марины Медведевой

Поэзия и проза в воде

Не все же быть серьезным, думал я, сочиняя приветствие к юбилею поэта Станислава Куняева. Мы с ним много ездили и всегда были единодушны в том, что если встречали где воду (река, море, пруд, озеро, источник), то в эту воду непременно влезали. Ему-то, Станиславу Юрьевичу, хорошо, он в юности чемпионом Калуги по плаванию был, но и мне, при моей вятской натуре, уступать не хотелось.

На Дону

Поэт пресекает течение Дона,
За ним поспешает казацкая дона.
Прозаика плешь и в бинокль не видна,
У Дона не может нащупать он дна.

На Алтае

Прозаик:
Прозаик наш, седой, как лунь,
Пошел купаться на Катунь.
Вернулся, лег, лежит и стонет:
Узнал: в воде о н о не тонет.

Поэт:
— Алтай прошел от А до Я,
Плескался в озере АЯ.
— Да не аЯ, а Ая.
— Да, там, где двери рая,
И там, где нет прозая.

А вот из Египта такая картина:
Поэт, оседлав, понужает дельфина.
Прозаик и тут для поэта обуза —
К нему сзади пуза прилипла медуза.

Вот плещутся оба в пространстве Байкала,
Как кубики льда между стенок бокала.
Поэт пышет жаром, прозаик бледен,
И с кем соревнуюсь, печалится он.

Друзья, перед нами река в Заполярке:
В нее, разболо́кшись, рванулись в запарке.
Какие ж итоги купанья в тундра́х:
Поэт ловит рыбу, прозаик в соплях.

Какая ж во всем этом мудрости доза?
Не вздумай тягаться с поэзией, проза.

К вопросу о КГБ

Слежка за интеллигентами в годы СССР была делом обыкновенным. Если есть государство, если оно собирается жить долго, оно должно иметь службу своей безопасности. Это совершенно нормально. Да, следили. Ну и что? И правильно делали. А уж как сейчас-то следят!

О слежке за собой я узнал первый раз в институте на втором курсе, когда наши студенты поехали в Чехословакию, и я должен был ехать, а меня не пропустили при оформлении паспортов. Не поехать, это ладно, но почему не пустили? Обидно же! Тем более в программе стоял мой доклад о военной прозе. Я в ректорат — объясните. Ничего не объяснили, но вскоре вызвали в районное Управление КГБ, и очень вежливый человек разъяснил, что я имел дело с секретной военной техникой и от этого на пять лет после службы стал невыездным. Он даже пошутил, что после пяти лет мои сведения будут никому неинтересны. Техника уйдет далеко вперед.

Конечно, меня оскорбило недоверие государства ко мне, преданному гражданину, но что ж, порядок есть порядок. Узнал причину и успокоился, а потом и перед друзьями даже выхвалился: вы в Праге были, а я засекреченный.

Вот. А второе знакомство с органами было гораздо позже и гораздо длительнее. Уже и за границей побывал, уже и книги выходили, тогда и привелось познакомиться с человеком с Лубянки. Он был Николай Николаевич. Это, конечно, для меня, а как по паспорту, не знаю. Какая разница, был бы человек хороший. А он как раз таким и оказался.

Как-то так получилось, что меня привечали диссиденты. Думаю, от того я был им интересен, что писал работы, которые не печатались, резались и редакторами, и цензурой. Смешно сейчас: повесть «Живая вода» не мог напечатать семь лет, да и то вышла вся отребленная. Так же и другие. Вроде ничего особенного, я не обижался, борца за правое дело из себя не корчил. Но писал, что видел, что чувствовал, иначе не мог, вот и вся заслуга. Кстати, не такой уж я был страстный патриот, чтобы отказаться от публикации на Западе ненапечатанного здесь. И охотно отдавал для прочтения свои рукописи тем, кто имел отношение к издателям тамиздата. А для них, опять, был не до конца антисоветчиком.

Для Лубянки я стал интересен прежде всего знакомством с писателями Львом Копелевым и Георгием Владимовым. Были и другие, но эти, особенно последний, выделялся даже среди инакомыслящих. Он тогда, год примерно 1974-й, возглавил Комитет помощи политзаключенным. Об этом он со мной и не говорил. Об этом говорили вражеские голоса. Правда, жена Георгия Николаевича, Наталья, бывшая жена клоуна Леонида Енгибарова, говорила о всяких эмиграциях, отъездах, посадках куда охотнее. Ее можно было понять: она — дочь репрессированного директора Госцирка. Мне же Георгий Николаевич нравился как писатель. Именно его повесть «Большая руда» и роман «Три минуты молчания» я, что называется, пробивал в издательстве «Современник», где был старшим редактором и секретарем парторганизации. То, что был секретарем, помогало и совсем не смущало ни Владимова, ни Копелева. Даже любопытно: как так — вроде свой для партии, а и его режут. То есть не меня, а мои повести и рассказы.

Николай Николаевич, вернемся к нему, назначил встречу в отдельном номере гостиницы, теперь уже забыл, или «Москвы», или «России». Скорее, «России». Да, этаж третий (поднимались пешком, но для данного рассказа такие детали неважны). Деликатно расспрашивал о моих знакомых, которые имели знакомых за рубежом. Я был начеку. «Что я могу сказать? Хорошие писатели. Копелев даже и не писатель, исследователь творчества Гете и других немцев. А где издаются, это же их дело».

Одной встречи чекисту оказалось мало. Через неделю вновь беседовали. Он взывал к моей партийной совести. «При чем партийная совесть? — отвечал я довольно смело. — У меня и обычная есть. Я стараюсь помочь писателю Владимову издать роман. Он о северных рыбаках, о рабочем классе. Это же как раз то, что ждет партия от писателей».

— А вы можете написать свои соображения?

— О романе? Я писал редзаключение, оно в деле, можете запросить.

— А все-таки?

— Я же нового ничего не напишу.

Внутренне я уловил его желание получить от меня подписанную мной бумагу для его всемогущего Комитета. Надо ли говорить, что тема доносов, разоблачений, трусости была для пишущих интеллигентов одной из основных. Он давил и давил. Я уже, было, стал думать: а что такого, если я напишу, что Владимов — хороший писатель, автор книг о рабочем классе. Да ему премию надо дать, а не следить за ним. И в самом деле, дадут премию, это признание з д е с ь избавит от признания т а м. Но Бог спас: время встречи с чекистом истекло. Уже было далеко за конец рабочего дня, а может, номер этот был нужен для следующей встречи, Николай Николаевич засобирался. Но все-таки очень просил написать о Владимове.

— Вы говорите: он хороший писатель, так? Вот и отобразите. И мне будет легче его защищать.

— А ему что-то угрожает?

— Не то что бы, но подстраховаться не мешает.

— Но, Николай Николаевич, если его здесь не издать, там издадут.

— За него не переживайте, издают. И гонорары переправляют.

Чекист подарил мне книгу на русском языке о Солженицыне. Написанная женщиной, она убедительно рассказывала, какой Солженицын эгоист, как он всех использует, как думает только о своей известности, как

он был на блатной шарашке, даже вроде того, что сотрудничал с органами.

И по дороге домой и дома я все прокручивал слова чекиста. Неужели готовится посадка Владимова или высылка, так, что ли? Надо как-то Владимова предупредить. Но как? Поневоле я попал в ситуацию, в которой надо было быть настороже. Может, уже и за мной наблюдение? За Владимовыми-то уже точно следили. Напротив их пятиэтажки на Филевской улице возводилась девятиэтажка, и Наталья уверяла, что там установлена направленная на их квартиру следящая аппаратура.

А надо сказать, что Владимов писал очень толковые внутренние рецензии. Мы подбирали ему рукописи потолще, чтобы выписать гонорар побольше. Так же, помню, мы подкармливали и Владимира Дудинцева, и Олега Волкова. Да многих. Вскоре, когда я ушел из издательства и со мною расторгли все договоры и нигде не печатали, я года три-четыре жил именно на гонорары за рецензии. Так я к чему. На работе спросил секретаря редакции, пришла ли с внутренней рецензии рукопись, закрепленная за мною. Не спросил, принес ли Владимов рецензию, а пришла ли рецензия. Нет?

— Так позвоните рецензенту, поторопите.

Секретарь позвонил, поторопил.

— Обещал к понедельнику.

А понедельник был обязательный присутственный день. Так что я не специально вроде бы пришел, а исполняя служебные обязанности.

Владимов обычно появлялся на очень краткое время. Отдавал работу, брал следующую и уходил. Многие редактора хотели иметь такого рецензента, но я, как его редактор, имел на Владимова монополию, то есть именно я и приготовил ему очередную работу. Открыв ее при нем, положил в нее бланки квитанций, которые заполняли рецензенты для оплаты. Протянул папку Владимову и поглядел в глаза. Как раз вместе с квитанциями я положил записку, что надо поговорить. Конспиратор он был гениальный. Через десять минут в редакции зазвонил телефон.

— Вам девушка звонит! — весело сказал секретарь редакции.

— Лишь бы не пишущая, — ответил я, взял трубку и услышал голос Владимова.

— Стою у входа в метро, — сказал он и повесил трубку.

— Что-то разорвалось, — пожал я плечами.

— Испугалась.

Я подождал для виду, потом сказал, что пойду в магазин. У метро мы встретились, я рассказал о чекисте.

Владимов молча курил. Потом еще закурил, но быстро выбросил сигарету в урну.

— Да ерунда, не переживайте.

— За вас переживаю.

— А про Солженицына правда? То, что сотрудничал?

— За него тем более не переживайте.

На работе сказали, что меня вызывают в райком партии. Думал, из-за Владимова, торопливо, в дополнение к редзаключению, написал аннотацию, где опять нажимал на скудость рабочей тематики в современной литературе и необходимости издания романа «Три минуты молчания». Взял и верстку.

Но в райкоме был обычный семинар секретарей первичных организаций, один из тех, на которых можно было или спать, или заниматься своим делом, лишь бы присутствовать. Хотя я не провел время даром, подошел к зав. отделом пропаганды, женщине толковой, жаль, не помню имени-отчества, и, специально опережая события, ничего не говоря о встрече с чекистом, попросил ее прочесть роман.

Она, представьте себе, прочла. Прочла быстро, и, опять же представьте, роман ей понравился. То есть стала моим союзником. Другого союзника я обрел в лице главного редактора Андрея Дмитриевича Блинова. Он, бывший фронтовик, до «Современника» работал в издательстве «Московский рабочий», и, как сам говорил, не было у него уже сил читать халтуру, прикрытую «болтами-гайками». «Производственный конфликт, — насмешливо говорил он: совершил прогул, переживает, ночь не спал, изменил угол заточки резца, подежурил в народной дружине, вернулся к жене, забыл пивную. Письменики хреновы!»

Он взял на себя смелость подписать роман в печать. Правда, убежденный трезвенник, просил поубавить, особенно на первых страницах, эпизодов пьянки, когда Сеня Шалай, главный герой, пропивает в Мурманске получку перед тем, как уйти в море за новой. Я боялся, что Владимов заупрямится, когда приехал к нему и показал места, отмеченные карандашом и предлагаемые к сокращению. Нет, он пожал плечами и согласился.

— Если бы это пьянку в жизни сократило.

Мне же эти сокращения позволили нагло написать в докладной директору, Юрию Львовичу Прокушеву, что «в ходе подготовки романа к изданию автор коренным образом переработал его текст».

И ничего не случилось — вышел роман, выписали автору повышенный гонорар. Георгий Николаевич пришел за ним к концу рабочего дня, просил сотрудников немного подождать, ненадолго вышел и вскоре вернулся и с шампанским, и с коньяком, и с тортом. Мы славно отметили выход книги, закусывая питье тортом, словом, все по-человечески.

Точно во время застолья позвонил телефон. Меня. Николай Николаевич.

— Поздравляю с книгой. Держу в руках.

— А вы далеко?

— А что?

— По случаю выхода книги маленькое торжество.

— А-а, нет, в другой раз.

Потом, что потом? Потом Владимов уехал с женой в Германию, выпускал там журнал, ему помогал Солженицын, потом они разошлись. Какие были причины, я не вникал, уже было неинтересно. Потом умерла жена Наталья. Владимов с дочерью приезжал в Москву, виделся с критиком Анатолием Ланщиковым, потом и совсем вернулся. Ему дали дачу в Переделкино, где он вскоре умер.

Николай Николаевич вышел на пенсию.

Академия поп-арт

А вот интересно, почему сельский батюшка, никогда не бывавший в опере и слушающий ее впервые, может судить о ней более здраво, чем изысканный музыковед? Потому что у батюшки неиспорченный вкус и он, слава богу, знать не знает про всякие авангардизмы всяких творческих изысканий. Потому что «Херувимская», «Святый Боже», «Ныне отпущаеши», любые православные церковные распевы настолько чисты, возвышенны, молитвенны, что, привыкнув к ним, ощущая их частью души, уже легко отличаешь подлинное искусство от искусственного.

Далее. Специалисты по фальшивомонетчикам скажут, что совершенно бесполезно изучать все новые и новые средства и методы изготовления фальшивок. За мошенниками не угнаться. Надо досконально знать подлинные ассигнации, ценные бумаги, и тогда опять же легко видеть разницу меж подделкой и подлинностью.

Все сказанное имеет отношение к новости — в Московской духовной академии открылся арт-клуб. Благая вроде бы цель — священники должны знать интересы молодежи, идти к ней, уже зная, о чем говорить. И что это якобы повысит авторитет батюшек. Это мнение или наивное, или преднамеренно вредное. На мотоциклах батюшки уже ездили, на эстрадные концерты ходили. Это нравилось молодежи: священники с ними! Молодежь еще сильнее начинала кричать, энергичнее жевать и размахивать пламенем зажигалок. И что — молодежь хлынула в церковь?

Зачем познавать нравы мира, когда мы и так знаем, что «мир во зле лежит». Наши студенты Академии — будущие пастыри, воины Христовы. Кто побеждает мир? «...Рожденный от Бога... и сия есть победа победившая мир, вера наша» (1 Ин. 5:4). Вот этому и учить. А приглашать не скоропреходящих знаменитостей, а тех, на ком Россия держится, например, учителей Шестой роты псковских десантников.

Очень досадно, что организаторы этого «арта» до обидного походят на протестантов, которые думали втащить молодежь в храмы, делая там представления, и что? Не увеличилось, а уменьшилось число прихожан. А уважение к священникам упало.

И правильно — зачем приседать перед пороком? И таковым является порок рок-музыки. Да и какая это музыка, музыка — это мелодия, мелос, а тут только децибелы и приказной командный ритм, от которого балдеют. Причем балдеют без кавычек. Сбыт наркоты на рок-концертах увеличивается. Спросите у полицейских.

Скажут, ну а как же БГ? Борис Гребенщиков? Его и зовут «БоГ», вот как фанаты его возносят. Он-то разве не исключение? Нет, не исключение. Спасибо, матом не кроет со сцены, но и Богу не служит. А не служит Богу, кому тогда служит? Да и тексты-то простенькие: «Прекрасна ты, достаточен я, сейчас мы будем пить чай». Есть и псевдозначительное: «Серебро господа моего выше слов, выше звезд, вровень с нашей тоской». В таком тексте имя Господа с большой буквы не напишешь. Но может, певец не знает, о чем петь? Он же сам заявляет: «Мы все поем о себе, о чем же еще нам петь?»

Вполне могут быть обижены поклонники БГ. Надеюсь, это ищущие, но невоцерковленные люди. Они заполняют интеллектом тоску души по духовности. Ведь и философией начинают заниматься от того же. Но душе мало просто песен и просто знаний.

Идущий в храм не свернет на рок-концерт. В Первом послании ап. Иоанна сказано студентам: «Дети, храните себя от идолов!» А сколько их было, и все они внедрялись в умы молодежи специально. Вспомним «татушек», славящих лесбиянство. Они за границей где-то на каком-то концерте получили первое место. Как же кудахтало наше телевидение — Россию славят! А они ее развращали. Украинский президент Ющенко пошел еще дальше, пригласил певца Элтона Джона в Киев с «женой», мужчиной, вывел их к толпе на Крещатик. Крещатик! И над ним «семья» — два гомосексуалиста, и гордый президент — осчастливил матерь городов.

Но любого кумира смоет временем. Сегодня БГ, завтра ГБ, молодежь на месте не топчется. А кумиры состарятся вместе с поклонниками. Уж если такие вчерашние кумиры, как Вертинский, Лещенко (не нынешний), Шульженко, Утесов, другие, забыты, что говорить о сегодняшних. У тех слава была на десять порядков выше, чем у любого нынешнего.

Кто спорит, кому-то и Виктор Цой был и остается иконой, и Игорь Тальков. Но и они вожди только эстрадные, но не духовные. «Когда-нибудь через тысячу веков я обязательно вернусь в страну не дураков, а гениев», это как понимать? Темы песен все те же: «Перемен, мы ждем перемен», «Легко ли быть молодым»... Враг спасения очень сильно использует склонность молодежи к недовольству жизнью, на этом чувстве построены все заигрывания с молодой аудиторией. У нее нет настоящего дела, она не уверена в будущем, и это не ее вина, вина демократии, которая, по словам святого праведного Иоанна Кронштадтского, может быть только в аду. Как жить, когда все святое оплевывается, кругом воровство, история оболгана? Трудно, конечно. Но есть же, не выдумана же Святая Русь, есть малое стадо Христово, плывет по волнам житейского моря Корабль спасения, чего еще надо для радости? У Бога нет смерти. Говорит эстрада об этом? Да нет, на эстраде все никак не завянет «миллион алых роз», да пошляки «Аншлага» кривляются под слова: «Разве я наставлю пушку на свою жену-хохлушку»?

Следуя логике организаторов арт-клуба, надо раздвигать познавательные горизонты батюшек и в других областях. Например, спросим: у нас есть такое явление, как проституция? Не просто есть, оно растет. Тогда надо пригласить в Академию Ксюшу Собчак, она будет знакомить студентов с нравами обычных проституток, а Жириновский расскажет о политических. Далее: надо и воров в законе не забыть, надо и наперсточников позвать, чтобы в будущем поведать прихожанам о тех, кто может их обидеть и обмануть. И не забыть уважить умников Гельманда, Швондеровича и Свинидзе, у них тоже богатый опыт издевательства над Россией, тоже надо знать.

Конечно, благое дело — знакомить студентов с современностью, но зачем для этого создавать общество с такой собачьей кличкой — арт-клуб? Ведь и само слово «клуб» опять же завезенное, да и происходит от английского «клаббер» (дубинка). При нашем богатстве бежать за опытом к тем, у кого вместо соборности саммиты да симпозиумы? Чему они могут научить? Как венчать гомосексуалистов? Как бомбить мирное население, да еще и одобрять это?

Что-то тревожное в самом факте создания этого арта. Святые врата Академии распахиваются для чего, для кого? И главное, зачем? А это уже вопрос не к студентам, а к пастырям.

Осквернители

О «концерте» в храме Христа Спасителя

Вообще, я предлагаю этих сексуально озабоченных кощунниц просто выпустить, но с одним условием: чтобы они показали свой «номер» в синагоге и в мечети. И пусть либеральные подписанты — защитники развратниц — идут с ними и на них любуются. Думаю, что пожизненное заключение было бы милосерднее выполнения этого условия, ибо уже после первого концерта эти Иродиадины ученицы были бы разорваны на куски.

И нас еще смеют упрекать в жестокости! Да мы хотим, чтобы эти куклы в руках сатаны, эти его шестерки, эти дщери Иродиадины образумились, ужаснулись и спаслись. Какая жестокость? В красный угол моего дома ворвались хулиганы и кощунственно пляшут, задирая ноги, перед иконами и лампадой. А когда меня это возмущает, мне говорят: «Ах, как вы смеете нарушать свободу личностей».

Вспомним к случаю Фридриха Энгельса. Ярый враг христианства и России. Очень не дурак, во многом умнее Маркса. Так вот, Энгельс писал, что половой вопрос всегда неизменно в центре всякого революционного движения. Всякая революция имеет целью ниспровержение порядка бытия человечества. Эта цель недостижима без уничтожения роли семьи в обществе и роли женщины в семье.

В мой дом без спроса, по-наглому, ввалились хамы и стали плясать перед иконами в красном углу. Я возмущаюсь, а мне говорят: ну что вы, есть же права личности. Я их выставляю, а меня волокут в Европейский суд по правам человека.

Подумайте, где появились эти бесовки? В самой целомудренной стране мира, в России. Где они пляшут? В главном храме Православной церкви. Это и есть призыв к революции, которая пострашнее Февральской и Октябрьской, к сексуальной. Неслучайно все революции, в том числе Французская, Итальянская, дали свободу гомосексуалистам и лесбиянкам. И только в марте 1934 года был подписан закон, по которому гомосексуализм и лесбиянство были вновь включены в состав социальных преступлений.

Вновь закончу предложением: выпустить этих кощунниц с тем, чтобы они пошли концертировать к мусульманам и иудеям.

Молодцы евреи!

И как мы могли сомневаться, что министр просвещения, убивающий школу в России, не заставит ее школьников изучать холокост? Вот и дождались, и «Комсомольская правда» нам любезно сообщает, что на изучение его отведено 72 часа. Больше, чем на изучение русского языка. И как ты тут будешь возражать? Ведь был же еврейский холокост? Конечно, был, кто сомневается. Значит, и узнать о нем небесполезно.

Но тогда надо изучать и белорусский холокост, ведь в Белоруссии не осталось района, в котором бы не сжигали по три, по четыре деревни. И сжигали однотипно — загоняли в с е х жителей в один сарай и поджигали.

И обязательно изучать и страшную армянскую трагедию — турецкую резню начала двадцатого века.

А середина двадцатого — холокост в Кампучии.

И что тогда устроенный французами алжирский холокост?

А непреходящая боль за сербский холокост, напоминать ли о Талергофе?

Испанская инквизиция? Столетняя война? Варфоломеевские ночи?

Везде счет на миллионы. Или там погибали не люди, а манекены, и лилась не кровь, а клюквенный сок? Или в мире учитываются только еврейские страдания?

И, наконец, самый страшный холокост всех времен и народов — холокост Русский. Вот что надо изучать в российских школах. Изучать так: если бы не русские жертвы — не жить бы и не быть на планете и евреям.

А теперешний холокост — аборты?

Паки и паки испытывается на излом великовечная русская терпимость, и опять враги России уверены, что мы и это переварим. Куда денешься, переварим, запасной родины у нас нет. Да, братия и сестры, дожили мы до того, что внутри России живет шерстяная порода полулюдей, ненавидящих Россию.

Ладно, Бог всем судья. Будем жить дальше.

Это вы, ребята, Толстого перечитали

Современные интеллигенты, вслед за предшественниками, хнычут: не умеем мы объединяться. Ах, всхлипывают они, как мудр был Толстой, как красиво талмудычил: если дурные люди умеют объединяться, то и хорошим надо также объединиться. И как бы это было славненько и решило бы все русские проблемы.

Нет, милые, не умеем мы, русские, объединяться. И не умеем и никогда не научимся, и не надо. И не надо нам у евреев учиться сплачиваться. Мы — русские — не стадо. Мы умираем в одиночку, но не за себя, за Россию. А она Христова. Значит, за Христа.

За полвека сознательной жизни я видел-перевидел столько попыток объединений: партий, фондов, ассоциаций, движений, советов, сборов-соборов, и что? И сдвинулось русское дело? Нет. И как оно могло сдвинуться, если любые движения были просвечены спецслужбами, были в них масоны, если за века отлаженное иезуитское умение нейтрализовать их врагов в наше время доведено до изощренности. Появляется русская организация, в ней уже у телефона сидит красивая Ляля и звонит тете Хасе и докладывает, кто и когда пришел к Николаю Ивановичу и о чем говорили. Или появился умный, любящий Россию человек, люди готовы пойти за ним? А мы его орденами, да званиями, да бабенку подсунем, с женой разведем, да должностишку денежную предложим. Не устоит. Устоял? Есть на него и медицина, и травля, и черный пиар.

Неужели все так плохо? Нет, все антирусское, антироссийское дело разбивается, как о скалу, о наше воцерковление. Вот где враг нашего спасения бессилен.

Братья, идите в церковь. И не болтайте свои мнения о современном ее состоянии. Христос во все времена все Тот же, все та же литургия. Соединись со Христом — и спасешься, и спасешь.

А Толстой? Не к ночи будь помянут Толстой. Ну, объединились вокруг его идей, и что? И полилась кровь, и стала погибать Россия. Экое непротивление злу. Бог тебе судия, граф, но пора твои уроки забыть.

Господь посетил

Много страшного я видел в жизни. В век не забуду развалины и пожарища Приднестровья, Южной Осетии. Несчастные люди, как тени, блуждали по остаткам жилищ и считали счастьем, когда находили обгорелую ско-

вородку, треснувшую кружку. Я глядел на них с огромным состраданием, но глядел-то все-таки со стороны.

И вот это вселенское горе — гибель родового гнезда — коснулось и меня — у меня сгорел родной дом. Дом детства, отрочества, юности, дом, из которого я ушел служить в Советскую армию, в большой мир. Дом, куда я всегда приезжал, а последние десять лет жил в нем, когда вырывался из каменных объятий столицы. Куда привозил любимые книги, иконы, картины, коллекцию пасхальных яиц, дымковскую игрушку... Обзаводился хозяйством. Готовил себе спокойную мемуарную старость. Все сгорело, все. Подробности пожара ужасны. Горело с вечера, и вроде все потушили, даже не стали вытаскивать вещи. И пожарные уехали. А к утру опять запылало. И горело, и дымилось еще десять дней.

И вот — чернота, остатки дыма, обугленные стены, и особенный запах горелого кирпича нашей русской печи. Первым мои сном после этого был сон, что я лезу по обгорелой лестнице на крышу, стараюсь ступить на края ступенек, лезу, лезу, а верхние перекладины еще горят.

Господь вразумил — ничего не надо собирать на старость, только богатство душевное. Я заставлял себя вспоминать Иова Многострадального, вспоминал и то, как Тютчев при свечке собирался в дорогу и сжигал в камине бумаги и по ошибке сжег много нужно. «Я очень расстроился, — пишет он, — но воспоминание о пожаре Александрийской библиотеки меня утешило».

Да и я переживу потерю вещей. Тем более что матушка и батюшка вынесли из красного угла наш родовой крест. Который при строительстве бани откопали в нашем дворе. И который долгое время был укреплен на большом выносном кресте храма. С ним мы обходили храм после вечерней молитвы, с ним шли в Крещение на Иордань.

Когда я узнал, что крест сохранился — возликовала душа. Остальное переживу. Только как, как, думаю я, жить на родине не в своем доме, а в гостинице или даже у очень хороших людей, как? Родные половицы, родовое гнездо. Живы они, и душа твоя спокойна. Тут земля, согретая твоими босыми ногами. Свой дом — это свой дом. Тут и речи не идет о частной собственности, тут родина, мой род, родные.

Стоим с братом среди черноты на остатках пола, под перекошенной матицей. Тянет сквозняком, горелой сыростью. Так сиротливо!

— Тут были полати, помнишь?

— Да, спали на них. Просыпались не по будильнику, а от запаха лепешек, топленого масла. Печь топилась, дрова трещали. По стенам блеск и блики от пламени. Отец входил с охапкой поленьев, сваливал у печи. Тут и сестры вставали. А старший брат, оказывается, уже пошел за водой. Возвращался, брал приготовленное мамой пойло для коровы, корм для кур, овец, поросенка. Шел их кормить. Часто и мы в хлев ходили.

— Да, представить. Такая была теснота, а как дружно жили, как радостно. Никто никому плохого слова не говорил.

— Вот тут, — показываю в пустое пространство открытого неба, — тут всегда была икона.

Ночью выхожу под звезды. Таких звезд, такой луны, как в вятской земле, больше нет нигде. Алмазы и бриллианты, все двенадцать драгоценных камней города будущего из Апокалипсиса сверкают над моим сгоревшим домом. При свете полной луны. И я ли первый, я ли последний погорелец на Святой Руси. Не ропщу, но как горько, Господи, стоять на кладбище детства и юности.

Кстати о толпе

Читал хронику возвращения Наполеона из заключения. Вот, по порядку, заголовки газет.

«С Эльбы сбежало корсиканское чудовище».

«Самозванец высадился на берег».

«Бывший император идет на Лион».

«Наполеон Бонапарт в Лионе».

«Император идет на Париж».

«Париж приветствует Ваше Императорское Величество».

Тут продажность и журналистов, и ожидание толпы. Хотя именно толпе война принесла великие страдания. А по чьей вине война, убытки, смерти? Конечно, Наполеона. И толпа его опять ждет. Чего с них взять, французы.

Вечер на дворе

Последние десятилетия меня постоянно не то чтобы уж очень мучают, но посещают мысли, что я, по слабости своей, как писатель сдался перед заботами дня. И не то что б исписался, а весь как-то истратился, раздергался, раздробился на части, на сотни и сотни вроде бы необходимых мероприятий, собраний-съездов-заседа-

ний-пленумов-форумов, на совершенно немыслимое количество встреч, поездок, выступлений, на сотни предисловий, рекомендаций, тысячи писем, десятки тысяч звонков, на все то, что казалось борьбой за русскую литературу, за Россию. Разве такая жизнь помогает спокойствию души, главному условию сидения над бумагой?

Немного утешала мысль, что так, по сути, жили и сотоварищи по цеху. Слабое утешение слабой души. Все почти, что я нацарапал, — торопливо, поверхностно. Когда слышу добрые слова о каком-либо рассказе, написанном лет сорок назад, кажется, что говорят так, жалея меня, сегодняшнего. Похвала давно угнетает меня. Быть на людях, быть, как говорят, общественным человеком очень в тягость. Ощущение, что поверили не мне, а чему-то во мне, что могло им послужить. Вот, обманываю ожидания.

Ну, чего теперь, поздно. Во всех смыслах: вечер на дворе. Унывать — грех. Живу с Господом. Но мог бы жить с Ним и без литературы. Она что — миссия? Умение писать — средство передачи сведений. А посягнула на жизнь души. Еще и уверяю себя и читателей, что литература — способ приведения заблудших к Богу. А сам я не заблудший в этом выражении? Кого надо, Бог и без меня приведет.

В самом деле, зачем литература? Есть же Евангелие. Творчество — гордыня, даже богоборчество. Как и вся цивилизация. Один Творец — Господь.

Нечего сказать, веселые мысли. Это я использую данную мне свободу выбора. Но когда я был совсем крохотным и рассуждал по-детски, кто же мне внушил мысль о писательстве? Отец гордыни диавол. Скольких он погубил мечтами о славе, о деньгах. И разве я не мечтал о славе? Еще как. «Желаю славы я, чтоб именем моим...», и так далее, так что не один я такой. Но это отрочество, юность, потом пошло на поправку, ибо жизнь двигалась, и убеждала в бесполезности известности. И прошла. И нет же во мне ощущения, что прожил зря. Плохо, грешно, торопливо, да. А могла быть другая жизнь? Могла. Но что себя тиранить? Не ушел в монастырь — уже семья была, ее любил, не перестал писать — уже привык, и, значит, Бог так судил. Так что доживай и не мучайся. Выяснение отношений ухудшает их, а самокопание угнетает.

То, что пытаюсь выразить, поможет высказать утренняя молитва, в которой слова, прямо ко мне относящиеся: «Сподоби мя, Господи, ныне возлюбити Тя, якоже возлюбих иногда той самый грех; и паки поработати Тебе без лености тощно, якоже поработах прежде сатане льстивому». А уж и поработал, аз грешный, этому льстивому. Когда, в чем? Да во всем. Но книга моя — не церковь, читатель не священник, а я не на исповеди. Грешил и цеплялся для оправдания за слова «все грешат».

Но то-то и оно, что не все, то-то и оно, что за других с нас не спросят, спросят отдельно с каждого. «И другие грешили? А что тебе до других. Их тоже спросят. Ты отвечай, почему именно ты грешил?».

Вот, вырвался в Никольское. Тридцать пять лет назад, когда впервые его увидел, было село, сейчас часть города, называется это — зона ближайшего Подмосковья. Спасли мои полдомика соседняя церковь и кладбище при ней, спасибо могильным крестам.

И уже лет двадцать в округе ревут бульдозеры, ухает ночами забивание свай, горят в ночи огни высоченных кранов, рвут тишину и портят воздух цементовозы. Но другого пристанища для убегания из нервной трясучки Москвы на день, на два уже не будет. Тут и скворчики мои, тут и цветы, тут и яблони, и кусты смородины, малина, крыжовник. Тут и баня.

А в доме диван, на котором лежу и протягиваю наугад руку к книжным полкам. Северянин. Никак не соберусь написать о нем, уже и не соберусь — по слабости своей наобещал статей и предисловий. «Когда мадеру дохересит... когда свой херес домадерит», умел Северянин заставлять существительные работать.

И вот в его стиле написалось и у меня такое на тему о своей жизни:

Как будто и не жил, натурил
И свое счастье упустил.
Сам виноват — литературил:
Рассказничал, миниатюрил,
Рецензичал и предисловил,
И постоянно празднословил,
Статейничал и повестил,
И ни семьи не осчастливил,
И состоянья не скопил.
Что ж, присно каюсь — сам виновен,
Что гибну под лавиной строк.
Но, может, путь мой был духовен,
И, даст Бог, оправдает Бог?

Вот только на это и надеюсь, на оправдание. Жизнь моя так крепко срослась с жизнью России, что я не могу уже ни о чем писать, кроме как о своем Отечестве. Но так может писать и историк, и философ, а я-то числюсь по разделу изящной словесности. Да, кажется, есть чем отчитаться перед Всевышним: боролись за чистоту российских вод, за спасение русского леса, за то, чтоб не было поворота русских рек на юг, за преподавание основ православной культуры... боролись же! Крохотны результаты, но уходило на борьбу и здоровье, и сама жизнь. Обозначено же в алтаре храма Христа Спасителя то, что и аз грешный начинал воз-

рождение его. Вот и награда Церкви — орден. И можно внукам показать.

Золотятся купола, издается Священное писание, и труды Отцов, и все доступно, а Россия гибнет, народ переселяется на кладбища. Нет, нет нам оправдания. За всех не могу говорить, но аз зело и вельми виновен.

Но, Господи Боже мой, жива же Церковь православная, плывет же по морю житейскому Корабль спасения, есть же малое стадо Христово. Есть. Ты вошел в него, держись за него, будь в нем, вот и все.

Какой еще радости ждать, если дождался самой большой?

Менталитет на корточках

Приехал в свое любимое Никольское еще затемно. Соседка разгребает дорогу от крыльца к улице. Поздоровались.

— Слышали? — говорит она. — Мы уже не Никольское, мы уже город Балашиха. — Я даже не знал, что отвечать. — Газ, свет сейчас будут дороже, — рассуждает соседка.

И вдруг я вижу, что у нее слезы появились.

— Успокойтесь, — говорю. — Не последнее это на нас нашествие. При капитализме живем, значит, грабеж будет нарастать.

— Я не об оплате, это мы переживем, — говорит она. — У меня уже старший работает. А младший! — И тут она прямо в голос заплакала.

— Что с вами?

— Извините, — сказала она. — Я объясню. Он пришел позавчера из школы, мы все пообедали. Он вылез из-за стола, отошел к порогу и... сел на корточки! Представляете? Сел на корточки. Вот как в Средней Азии сидят, на Кавказе. По телевизору показывают. Я говорю: «Ты что»? Он говорит: «У нас в школе все так сидят». Я вчера в школу. Перемена. И — точно. Кто бегает, а большинство сидят вдоль стен на корточках. У нас же, да это и везде так сейчас, много беженцев, а больше того — просто приехали, дома и квартиры купили. Уже есть азербайджанские классы. В нашем — из Чечни, армяне, узбеки. Русских мало. Учительница с ними бьется-бьется, они же плохо знают русский язык, а наши в это время сами собой, ничему не учатся. Я хотела в спецшколу младшего перевести, а там такие цены, что и на свет не останется. Я к директору: «У вас же на корточках сидят». Она: «Я тоже удивляюсь. Спрашиваю наших, говорят, что привыкли, что удобно». Тогда я говорю: «А вы что сами с ними так не сидите?»

— А она что?

— А что она? Руками развела. Говорит: «Пишите министру».

— Министру? Да он счастлив, что просвещение русских гибнет.

Шестописатники

Так обзову шестидесятников. Начал по памяти их перечислять, да бросил, память не та, кого не надо, упомню, кого надо, забуду. Были же и Владимов, и Куранов, и Максимов. Было и явление Казакова. Белов, Лихоносов, Распутин, Потанин... Но не о них вещает пропаганда демократов, а о, например, Аксенове, Войновиче, Алешковском. Подтасовывают актеров, «Современник», «Таганку», художников... забыл этого, еще в сапогах ходил, хвалился, что пил с Высоцким, Петра Первого изуродовал, ну, неважно. На том же ополитизированном уродстве выехал и Эрнст Неизвестный. Как ими не восхититься: это надо уметь — заставить мир признать посредственность гениальностью, выдрючивание — искусством.

Когда о пьянках с Высоцким вспоминает Иван Бортник, так все-таки друг, имеет право, да пьянками и не хвалится. А Кабаков, шестидесятник, — это и писатель, видимо, или еще и художник такой выпендрежник? Но я не намеренно, не для оскорбления т а к их вспоминаю, а в самом деле не помню. А за что их помнить? Того же, по сравнению с ними, юного, нынешнего, Ерофеева? Тот-то Ерофеев Вениамин, был почестнее многих, хоть и похабник, что и послужило его прославлению. Матерщинник Лимонов хоть писать умел, да и все-таки пострадал, посидел в тюрьме, давшей ему удобную камеру и время для творчества.

Битов тоже писатель, но нигде и никогда не славивший России. У него даже в «Уроках Армении» Сарьян говорит: «Я понимаю, откуда армяне, я понимаю, откуда евреи, а откуда русские?» Но тому Сарьяну не русские ли воздавали почести?

Разные они, но я не о ком-то в частности, я о тенденции.

Четверка наших солдат во главе с Зиганшиным, которые совершили в начале шестидесятых подвиг, поразивший весь мир (надо ли о нем рассказывать,

уж это-то должно быть известно), вызвала к жизни четверку ливерпульскую, битлов. Такой известности, такой гордыни мир не знал доселе. Сатана безошибочно поставил на этих бесенят. «Мы, — орали они на пресс-конференциях, — более знамениты, чем Иисус Христос».

Думаю, многое сдвинулось в умах молодежи с их появлением. В худшую сторону.

А главное — из искусства был хирургически изъят, как лишний, основной образ двигателя мировой истории — труженика. И общество потребителей музыки обошлось без него. А от музыки всё — она задает ритмы эпохе. Если она не мелодия, не гармония, то есть не размягчает души и не делает их готовыми для молитвы, то начинает работать на разрушение души. Отсюда вся бесовщина эстрады, мелкотемье и хохмочки литературы, показ разврата в кино и на телевидении.

Шестидесятники не сопротивлялись вторжению дерготни в музыку и умы, они даже были рады. В этом шуме и бездумье и они чего-то стоили, да еще их подкачивали известностью и оплатой. Они и вспузырились от этой своей раздутости, а она оказалась пустой. Но дело было сделано — поколение за поколением стали считать и битлов певцами, и крики и кривляния искусством, и Аксенова с Войновичем писателями, и мазню живописью. А так как выдрючиваться, особенно бессовестным, легко, то количество выдрючивания завалило то настоящее, которое все-таки было в стране.

Они изображали себя смелыми, но были лакеями при властях. Эти «уберите Ленина с денег», и «Братские ГЭС», и сколько-то шагов к мавзолею, разве не холуйство? Оно в том, что человек трется около денег и около начальства. Данный от Бога талант тратит на себя, а не возвращает его Богу.

О, как их всегда тешило приглашение к начальству, как любят теперь преподносить в воспоминаниях такие встречи и себя в них, как гордых и независимых. Они заметны, с ними считаются, их вынуждены пригласить, а то, что лично с ними большой начальник не поговорил, так это от того, что холуи еще большего размера и наглости не дали подойти. Но водочки хорошей тяпнули, хорошо закусили, чем не герои? (Аксенов).

Но время — тот самый Божий суд для наперсников разврата. Он приговорил шестидесятников к забвению.

Или не так? Очень даже так. Вроде бы и протиражированы, и проэкранены, и прохвалены, но уже только материалы для историков культуры. Но если исходное сырье суррогатно, какая ж будет пища? Несъедобная. Попробуешь, да и выплюнешь.

«Дети! Последнее время!»

Так воскликнул апостол Иоанн, ученик Христа, обращаясь к собратьям, начавшим проповедь христианской любви во всех концах Вселенной. Последними он назвал времена, наступившие после Вознесения Воскресшего Христа. Ко Кресту Его пригвоздили люди своими грехами. Не были они вразумлены ни водами Вселенского потопа, ни огнями Содома и Гоморры. Приход Сына Божия на землю был последней милостью Бога — Отца к грешному человечеству. На Голгофе кончилось избранничество какой-либо нации, и наступило время деления людей на тех, кто идет за Христом, и на тех, кто служит сатане. Что общего у света с тьмой, у Христа с Велиаром? «Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской» (Кор. 10:21). Третьего не дано. Ад или рай. И тут ни при чем лукавые католические сказки про какое-то чистилище.

Всем дана свобода воли, каждый может быть кем угодно: мусульманином, иудеем, буддистом, протестантом, кришнаитом, но должен знать главное — судить будет Христос, Сын Божий. А Суд неизбежен.

Понятия «русский народ» не было до Крещения Руси, была Русская земля, после Крещения стала Святорусская земля. И это не пустые слова — Святая Русь сродни небесному Иерусалиму. От того мы непобедимы, что не дорожим земной жизнью, знаем: наше Отечество в небесных пределах, на земле мы в гостях. Но заработать место у Бога можно только на земле, борьбой за то Отечество, в котором было суждено появиться на свет, за свою душу. Она не наша, Божья. Мы ее получили чистой, чистой и сдать должны.

Самые счастливые люди на планете — славяне. Потому что душа у мира — православная, славянская. Душа славян живет не во времени, а в вечности. Какие бы политики, как черные вороны, ни накаркивали нам беду, как бы ни разделяли, мы тянемся друг ко другу. Чувство соборности в славянах заложено на генном уровне. Как и чувство братства. А соборности и братства не может быть без нравственного начала. Кстати, на западные языки соборность переводится как «симпозиум, саммит». Уже отсюда понятно, что им нас не понять, а значит, им хочется принизить нас до своего понимания, даже унизить. Считали славян унтерменшами и считают.

И мы слышим неумолчную трескотню политиков и писак о России — империи зла, тюрьме народов, стра-

не криминала. Но тратить время на их разубеждение — бесполезно. В это только ввяжись. Выдумано, что Сталин, выпив в дни Победы рюмку за русских, любил их сильнее других, но кто же, как не он, вскоре выступил против создания компартии России, хотя таковые были во всех республиках. Придумано, что мы Иваны, не помнящие родства, но кто более славян дорожит памятью предков, а уж родовая память у нас вообще щепетильна, хотя не переходит в тщеславие, и на первом месте у нас не происхождение, а деловые качества. Придумано, что мы — пьяницы еще с докрещенских времен, но как же мы ум-то свой за полторы тысячи лет все никак не пропьем, ведь все в мире: и наука, и искусство — держится русскими, славянскими талантами. Придумано, что мы — лодыри, а кто же за нас облагородил шестую часть планеты. Мы все обороняемся, а надо наступать. Какая может быть политкорректность, когда обо мне говорят гадости, а мне и правду нельзя сказать. А толерантность означает привыкание к заразе.

Я не говорю, что славяне лучше всех, но спрашиваю: есть в мире вселенская иерархия? Есть. Без нее нельзя. Кто на ее вершине? Нет, это никакое не мировое правительство, это, конечно, Господь, создавший мир. А дальше? А дальше те, кто к нему ближе. И кто же ближе тех, кто хранит в чистоте евангельское учение, апостольские предания? Конечно, славяне, конечно, православные.

Время летит к концу света, убыстряется. Старцы говорят: «Прошли времена, остались сроки». Время — главная ценность, от того так велики усилия сатанинских слуг, чтобы украсть его у нас. Заполнить его пространство чем угодно. И прежде всего заменить нравственные ценности ценностями материальными. Это главное бесовское ухищрение. Ведь кажется, жить можно — нет явных гонений на веру, на плаху за убеждения не тянут. Но это внешнее. Не преследуют люди, но обступают бесы. Что есть разгул пороков, хулиганства, проституции, омужичивание женщин, шествия педерастов, наркомания, как не успешные усилия врага рода человеческого? Страшны огни адские, но огни похоти страшнее. Они постоянно, как фейерверк в ночном клубе, разжигаются усилиями слуг сатаны, особенно с помощью искусства. А что основа любого искусства? Слово. То есть то, чем был создан мир, превращается в орудие убийства мира. Либералы славят только то из написанного, что развращает, порочит все святое. И зовут в какое-то якобы цивилизованное мировое сообщество. В какое? В английское, где дядечек венчают? В американское, где считают, что деньги могут все?

Долго мусолили фразу: «Красота спасет мир», она уже над всеми сценами конкурсов красоты, там, где девушек измеряют как породистых сук на собачьих выставках. Нет, мир спасет святость — последнее, что не удастся сатане использовать в свою пользу.

Это опять-таки не объяснить тем, кто считает, что материальное состояние человека определяет его сущность. Вот Янкель. Он же совершенно искренне не понимает, за что Тарас Бульба негодует на сына. За что? Сын полюбил полячку, а отец ее — воевода, да такой богатый, дочка у него такая красивая, повезло тебе, запорожец. И знатное родство, и деньги. А слова о родине, вере православной, о чести и бесчестии для Янкеля просто непонятны. Он такой был, такой остался. Янкель сейчас в советниках у начальства, он уже и сам банкир, у него с ладони и депутаты, и журналисты клюют. Его не переделаешь. Вспоминаю маму, которая в таких случаях о таких людях говорила: «С такими не связывайся. Плюнь да отойди». Это народный перевод начала Псалтыри: «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых и на пути грешных не ста и на седалище с губителями не седе».

Именно классика сохранила народное чувство семьи, родины, веру христианскую. Взорвали церкви, убили и заточили священников, сожгли священные книги, Хрущев, стуча ботинком по трибуне ООН, обещал показать с нее последнего попа. И что? Классика в основе своей была православна, она, как пушкинская царевна в лесном домике, вначале «затеплила Богу свечку», а уж потом «затопила жарко печку». И не протест мифическому «темному царству» смерть Катерины из «Грозы», а не может она вынести всплеска совести, этого голоса Божия в человеке, ибо осквернила брачные узы. «Поздно, — говорит Дубровскому Маша Троекурова, — я обвенчана с князем Верейским». Русская литература не оправдывала нарушения нравственных законов. Более того, обвиняла в несчастьях человека его самого. Вот «Тихий Дон». Конечно, и Свердловы, Штокманы, и Чапаевы убивали казачество, ну а сам Григорий Мелехов? Он доводит Наталью до попытки самоубийства, и, как возмездие за грех, умирает его с Аксиньей дочка, рожденная в блуде.

За сто лет до «Слова о полку Игореве» было создано «Слово о Законе и Благодати» — учебник нашего отношения к жизни, указатель водораздела между отношением ко Христу, противостояние иудаизма и христианства. Это противостояние — главное в мировой истории, и вся история заключается в одном: мир или приближается ко Христу, или удаляется от него. И теперь явно, что физическое уничтожение церквей и православных людей не смогло удалить от Престола Божия, а теперешние гонения на душу удаляют.

Нам, славянским писателям, надо терпеливо продолжать делать свое дело, ведь наше дело правое, чи-

татели нам верят, пора и нашим руководителям понять, что православное славянство никогда не будет похожим ни на кого в мире. В Отечественную войну мы воевали не только с Германией, а вообще со всей обезбоженной Европой. Чехи делали для Гитлера танки, болгары кормили захватчиков, свободолюбивые французы залили оккупантов вином, завалили закуской, в союзе с фашистами воевали хорваты, румыны, итальянцы, финны, норвежцы... И это те, кто не был лишен ни храмов, ни религиозной литературы. А гонимые за веру русские люди встали на защиту того государства, которое их убивало. Они защищали не систему, не идеологию, а Отечество, свои святыни.

Литература для славян никогда не была ни развлечением, ни наживой, она была борьбой за человека, его душу. Чистота и прозрачность славянской поэзии и прозы в лучших ее образцах была родниковой. Таковой и должна остаться. Вспомним евангельское, что не может чистая вода течь из замутненного источника. В применение к литературе источник — это сердце писателя.

И нечего нам стесняться: в духовном смысле мы — ведущие в мире.

Бумажные цепи

С годами все обостреннее вспоминается детство, особенно Новый год. Елочных игрушек у нас было мало — терялись куда-то. Вот была картонная курочка, бронзовая, с крохотным красным гребешком, а принесли из чулана коробку с игрушками, разбираем — нет курочки. Клоун тут, самолетик тут, домик тут, где курочка? Начиналось следствие. Старшая сестра вспоминала сама и заставляла всех вспоминать: кто в прошлом году разбирал елку, кто? Никто не помнил. И вообще никто не любил разбирать елку, всем хотелось, чтоб она подольше постояла. Значит, родители. Но чтобы родители могли сделать что-то небрежно, такого и подумать было невозможно. Потерянная курочка становилась еще дороже именно от того, что была потеряна.

— К соседям ушла, на соседский сарай, — говорила мама, — там несется. Ничего, к Пасхе вернется, без яиц не останемся, не переживайте.

В заботах о новой елке курочка забывалась. Да если бы она и не пропала, все равно надо делать новые игрушки. И фонарики, и цепи, и снег, и флажки. Оказывается, отец уже приготовил старые газеты, пузырек клея, кисточку, краски. Все хотели клеить кисточкой, ссорились. Но мало-помалу налаживалась работа дружной бригады. Мама стригла газеты на длинные узкие полоски, их с одной стороны покрывали разными красками или тушью, они быстро сохли, их резали на равные частички — это для цепей. На фонарики — тетрадочную бумагу. Для «снега» жертвовали разноцветные промокашки. Первое кольцо для цепи склеивалось сразу, второе, в виде полоски, продевалось в первое, потом тоже склеивалось. И так далее. Подбирали цвет, чтоб не было подряд двух красных колечек или двух синих. Клея к этому времени не оставалось, и вместо него пользовались вареной картошкой. Хорошо бы, конечно, сделать клейстер из муки, но если можно картошкой, то зачем тратить муку.

Мама доставала со дна швейной машинки «Зингер» шпульку ниток. Шпульку раскручивали, сматывая с нее столько нитки, чтобы ее хватило на несколько раз от стены до стены. Это для гирлянд с фонариками и флажками. Гирлянды возносились на свои места самыми первыми, еще до появления елки, чтоб потом ее не потревожить.

А цепи, копящиеся около стола шуршащей грудой, все удлинялись и удлинялись. И уже мне казалось, что хватит, нет, старшие продолжали трудиться, значит, и я с ними. Младшие засыпали прямо за столом. И на другой день, в последний день старого года, еще все делали цепи. Но уже без нас со старшим братом, мы шли на лыжах за елкой. Брат по-мужицки затыкал топор за ремень телогрейки, мне доверял только санки.

В лесу, в его тихом, белом сиянии, ожидающем восхождения солнца, елочек были целые заросли.

— Эту возьмем! — кричал я, хватая ту, которая ближе.

Снег осыпался с ветвей, елка радостно зеленела. Любая елка казалась мне красавицей, мало того, я любую жалел и желал всем елочкам счастливого Нового года.

— Маленькой елочке холодно зимой, — говорил я, — из лесу елочку надо взять домой. Давай побольше наберем, — предлагал я брату. — Все нарядим, им же обидно, вот одну возьмут, а они — так под снегом и жить?

Брат взглядывал на меня с непонятным мне интересом и все искал и искал единственную из десятков самых разных. Уже и солнце всходило, уже я замерзал и хныкал, а брат все продолжал поиски. Наконец решался. Но уж зато и елочка у нас была! Ровно под потолок, шатериком, веточка к веточке, а запах! Будто брат и запах выбирал — запах слышался уже в сенях. В чулане находили прошлогоднюю крестовину или делали новую, устанавливали елку и начинали наряжать. Младшие улепляли игрушками подол елочки, мне достава-

лись ветки повыше, маме еще повыше, брат залезал на табуретку и украшал самый верх. Сестра подавала ему игрушки и командовала. Отец осуществлял общее руководство.

Начинали окружать елку цепями. Осторожно, чтоб не порвать, подавали брату, он закреплял первое колечко на лапку у звезды, потом переставлял табуретку, принимал от нас волны бумажной цепи, которая серпантинной спиралью опоясывала разноцветное зеленое чудо.

Доблесть была в том, чтобы цепь нигде не разорвалась. Если кто попадал между елкой и цепью, работа останавливалась. Попавший вылезал на свободу.

— Ой, не хватит, — переживала сестра, — ой, давайте реже окружать.

Но реже не хотелось, потому что когда много таких цепей, то вся елка становилась кружевной. И всегда все сходилось в самый раз. Последнее колечко укрепляли на ветке у самого пола.

— Это как пельмени стряпаешь-стряпаешь, — говорила мама, — и боишься, вот теста или фарша мало будет, вот лишнее, а всегда выходит точно.

Мы любовались елкой. Отец начинал рассказывать, какие елки были в его детстве. Мы это, конечно, слышали. Еще бы ему не помнить — делали фактически для него одного, он был один сын, а кроме него, десять сестер, наши тетки.

— Один раз тятя поехал на Тихорецкую ярмарку, — начинал отец. Мы уже знали, о чем будет рассказ, — о французской булке, но с радостью слушали, таких булок мы не едали. — Поехал и привез всем калачей, сушек, а мне еще отдельно французскую булку. Бабушка говорит: «Съешь, Колюшка, половинку сейчас, а вторую половинку завтра». — И разрезала булку. А мне это так обидно показалось, говорю: «Зашивай, и все!» И она, что вы думаете, она...

— Зашила! — кричали мы.

— Барином рос, — говорила мама, — нечего говорить, барином.

— Да, — довольно хмыкал отец, — мне ногами до пяти лет не давали ходить, все на руках таскали.

— Так уж до пяти? — сомневалась мама.

— Ну, до трех, — сбавлял отец и вспоминал дальше. — А у нас в деревне были микаденки, прозвали по отцу, у них отец пришел с японской войны и все время говорил: микадо, микадо, это японское слово.

— Это — император, — говорила сестра.

— Семья большая, звали детей микаденки. У них был японский фонарь, ох, они им хвалились. Их тоже выслали. Их раньше, успели собраться, может, фонарь сохранили, а нас высылали, ни минуты на сборы, все бросили. Игрушки пропали. А в Сибири игрушки делали из шишек. Навешаем кедровых, потом орешки щелкаем.

— Ой, а корова, — вскрикивала мама. — Отец, пойло приготовил?

— Так точно! На моей фабрике ни одной забастовки. Вот как нас елка увлекла, даже про корову забыли. А у нее скоро будет теленок, к ней надо чаще ходить. Но как же не хотелось уходить от елки! Раньше мы наперебой, напередир, как выражалась мама, старались завоевать право нести фонарь, идти с мамой или с отцом давать корм корове, поросенку, курам, а сегодня маме пришлось назначать себе спутника.

— Нет добровольцев? — спросила она и поглядела на елочку. — Ну конечно, где ж корове против елки.

Да, но оставалось в деле украшения еще одно — «снег». И оставшуюся цветную бумагу, и промокашки резали мелко-премелко, потом в большом блюде этот «снег» — название «конфетти» мы узнали позже — этот «снег» перемешивался, брат опять залезал на табуретку, я на вытянутых над собой руках держал блюдо, брат пригоршнями черпал из него и обдавал нашу елочку как будто дождем. А последние заскребышки взлетали над нами и падали нам на головы, на плечи.

— Ой, — пищала младшая сестренка, — ой, на реснице сидит, ой, тихо! Ой, упала!

И она начинала реветь.

Младший брат пытался водворить «снежинку» на ресницы сестренки, но тут возвращалась мама. Мы ужинали и начинали ждать Новый год.

Не только «конфетти» — всё будет позже: будут папиным-маминым внукам, нашим детям, дорогие заграничные елочные украшения, мигающие электрические гирлянды, шагающий игрушечный дед-мороз, луноход на батарейках, трещащие, похожие на взаправдашние, автоматы и настоящий Дед Мороз, приносящий в оплаченное время оплаченный подарок, всё будет. И уж, конечно, съедобные подарки будут другими: фрукты, шоколад, конфеты всех мастей. «Нам бы в детство такие конфеты, — недавно сказала сестра, — мы бы из этой серебряной фольги резали “снег”». Да уж, вспомнили мы свои тогдашние подарки в пакетах из газет: печенишко, конфеты-подушечки, булочка. Пакеты вышли из моды, началась новогодняя упаковка из полихлорвинила, в виде матрешки, сундучка, царь-пушки, золотого ключика, а то и вовсе в виде башни...

Но все-то мне кажется, что у нас было больше радости от Нового года. Больше. Мы сами созидали его. Сидя у керосиновой лампы, тычась от усталости носом в стол и все равно ни за что не уходя, пока не будет полночь, пока не наступит этот щемящий, так томительно ожидаемый и тут же исчезающий миг, — разве можно уйти спать, провалиться в сон? Да ни за что! Мы сидели,

глядели на елку, кое-что еще подправляли на ней, каждый раз обсуждая, как будет смотреться перецепленная игрушка на новом месте.

— Ты от порога посмотри, ты близко смотришь, — говорила сестра.

Старший брат брал в руки лампу, и мы торжественно обходили елку вокруг.

— Хороводы завтра, — строго говорила сестра. — Сейчас в «морской бой» или в «города».

— В «пуговки», — хныкал младший брат.

Он уже совсем-совсем засыпал. Младшая давно спала.

Первое свое стихотворение я написал именно в новогоднем ожидании: «Растет история, и вот мы вместе с ней растем. И пусть войдем мы в Новый год, как в новый дом войдем».

А наутро так ликовало солнце, будто тоже понимало, что надо жить в новом году по-новому, оставив в старом все плохое. И хотя мы по-старому ломали лыжи, бросаясь на них с Красной или Малаховой горы, по-старому обмораживались, но все равно, счастье продолжалось: дома нас ожидала елка, и ее запах соревновался с запахом свежей стряпни. О, эти мамины плюшки, ватрушки, это зимнее мороженое молоко, эти пестрые пузырчатые блины...

Самое загадочное, что на следующий год бронзовая картонная курочка находилась, и мы спорили, где ей лучше жить на елке. Ей на смену терялся домик, потом он тоже находился... И всегда-всегда делали бесконечные бумажные цепи, оковывали ими елочку.

И вот я, понимающий, что в моей жизни все прошло, кроме заботы о жизни души, думаю теперь, что именно этими бумажными цепями я не елочку украшал — я себя приковывал к родине, к детству. И приковал. Приковал так крепко, что уже не откуюсь. Многие другие цепи рвал, эти не порвать. И не пытаюсь, и счастлив, что они крепче железных.

Правда, крепче. Детство сильнее всей остальной жизни.

Привет, кикиморы!

Дорогие земляки, позвольте именно так к вам обратиться. А как иначе? Вы же сами, получается, согласились на такое прозвище вятских людей. Что называется, ради бренда.

Милые вятичи и вятчаночки, вы сбрендили. Единственное, что вас оправдывает, так это то, что вас не спросили. Какая кикимора? Вообще, вдумайтесь: Киров — город кикиморы? И так-то жить, осознавая себя живущим в Кирове (а он же человек, то есть жить в какой его части? Ладно, в голове, а если гораздо ниже?), так еще и эта напасть. Нет уж, извини-подвинься. Годы и годы говорим мы о возвращении имени Вятка Вятке, о самой лучше земле нашей любимой России. Никакой это не Хлынов, не селение ушкуйников, это Вятка — святая наша, единственная родина. И вот теперь ее вновь оскорбляют ради издевательского, якобы сказочного, проекта.

Скажут, ну это же шутка. Нет, товарищи, авторы таких проектов очень не дураки. Если они и смеются, то только над нами. Сделано тонко: разве кто-то будет против, если русская сказка придет в современную жизнь России? Тут и я, да и все мы не будем против, это очень хорошо. Но, спросим, почему же среди персонажей русских сказок выбраны именно представители нечистой силы? Тут, даже точно, детей наших и их неразумных родителей тянут к праздникам представителей ада? Уже и сейчас в школах бывают маскарады ряженых ведьм, вурдалаков, всяких масок из преисподней. Это и есть тот самый праздник Хеллоуин, день бесовщины. Очень ценная, заметим, культура достается России от цивилизованного Запада.

Почему, спросим мы, не взяты из народного творчества величайшие, воспитывающие добро и любовь, образы Василисы Прекрасной, Марьюшки, Финиста — Ясного сокола, Иванушки, Крошечки-Хаврошечки? А былинные мотивы? Именно вятский человек воочию увидел на родных просторах богатырей Илью Муромца, Добрыню Никитича, Алешу Поповича, вот чем нам можно и нужно гордиться.

Что, эта кикимора будет воспитывать любовь к Отечеству, к родителям, к труду? Приучать к честности?

Скажут, а другие? А что другие? Вот и им от нас будет пример, чтоб с ума не сходили. Хочется известности? Она у вятских есть, и очень даже громкая. Вон наши соседи объявили, что Великий Устюг — родина Деда Мороза. Но это же глупость. Дед Мороз пришел к детям как святитель Николай. Родом, напомним, грек, из Малой Азии, какой тут Великий Устюг? Это город таких, потрясающих по своей силе и воле и полезности Отечеству землепроходцев, что грешно забывать их. А тут Дед Мороз. Хотя все-таки не Дед Кикимор.

Сказанного достаточно.

Марусины платки

Эта старуха всегда ходила в наш храм, а как вышла на пенсию, то стала быть в храме с утра до вечера. «Чего ей тут не быть, — говорили про нее другие старухи, которые тоже помогали в службе и уборке, — живет одинешенька; чем одной куковать, лучше на людях». Так говорили еще и оттого, что от старухи много терпели. Она до пенсии работала на заводе инструментальщицей. У нее в инструменталке была чистота, как в операционной. Слесари, токари, фрезеровщики хоть и ругали старуху за то, что требует сдавать инструмент, чтоб был лучше нового, но понимали, что им повезло, не как в других цехах, где инструменты лежали в куче, тупились, быстро ломались.

Такие же образцовые порядки старуха завела в храме. Ее участок, правый придел, сверкал. Вот она бы им и ограничивалась. Но нет, она проникала и на другие участки. Она никого не корила за плохую работу. Она просто пережидала всех, потом, оставшись одна, перемывала и перетирала за своих товарок. Даже и староста не смела поторопить старуху. Только сторож имел на нее управу, он начинал греметь старинным кованым засовом и сообщал, что луна взошла. Другие старухи

утром приходили, конечно, расстраивались, что за них убирали, но объясниться со старухой не смели. Конечно, они в следующий раз старались сильнее, но все равно, как у старухи, у них не получалось: кто уже был слаб, кто домой торопился, кто просто не привык стараться, как она.

У старухи был свой специальный ящичек. Это ей по старой дружбе кто-то из слесарей сделал по ее заказу. Из легкой жести, но прочный, с отделениями для целых свечей, для их остатков, отделение для тряпочек, отделение для щеточек и скребков, отделение для порошков и соды.

Видимо, этого ящичка боялись пылинки, они не смели сесть на оклады икон, на деревянную позолоченную резьбу иконостаса, на подоконники: чего и садиться, все равно погибать. И хоть и прозвали старуху вредной, но то, что наша церковь блестела, лучилась отражением чистых стекол, сияла медовым теплым светом иконостаса, мерцала искорками солнца, отраженного от резьбы окладов, — в этом, конечно, была заслуга старухи.

Но вредной старуху считали не только соратницы, а и прихожане. К ним старуха относилась как к подчиненным, как старшина к новобранцам. Если в день службы было еще и отпевание, старуха выходила к тем, кто привез покойника, и по пунктам наставляла, как внести гроб, где развернуться, где стоять родственникам, когда зажигать свечи, когда выносить... То же и венчание. Крестили не в ее приделе, хотя и туда старуха бросала зоркие, пронзительные взгляды. Иногда, если какой младенец, сопротивляясь, по грехам родителей, орал особенно безутешно, старуха считала себя вправе вторгнуться на сопредельную территорию и утешить младенца. И в самом деле, то ли младенец пугался ее сурового вида, то ли она знала какое слово, но дитенок умолкал и успокаивался на неловких руках впервые зашедшего в церковь крестного отца.

Старуха знала наизусть все службы. «Ты, матушка, у меня не просто верующая, ты профессионально верующая», — говорил ей наш настоятель отец Михаил.

— А почему ты, — сурово вопрошала старуха, — почему на проскомидии не успеваешь читать поминания?

— Матушка, — вздыхал отец Михаил, — с благодарностью и смирением принимаю упрек, но посмотри, сколько записок.

— Раньше вставай, — сурово отвечала старуха. — А то чешешь, чешешь, людей же поминаешь. Чего это такое: такой-то и иже с ним. Чего это за имя — «иже с ним»? У тебя-то небось имя полное — отец Михаил, и они, грешные, не «иже с ним». Ничего себе имечко. Вот тебя бы так обозвали. Мученики не скопом за Христа мучились, каждый отдельно за Господа страдал. — Она крестилась.

— Прости, матушка, — терпеливо говорил отец Михаил.

— Бог простит, — сурово отвечала вредная старуха.

Во время службы, когда выносилось для чтения Святое Евангелие и раздавалось «Вонмем!», старуха окаменевала. Но могла и ткнуть в бок того, кто шевелился или тем более разговаривал. Стоящая за свечным ящиком Варвара Николаевна тоже опасалась старухи и не продавала свечи, не принимала записок во время пения «Херувимской», «Символа веры», «Отче наш», «Милость миру». Она бы и без старухи не работала в это время, но тут получалось, что она как бы под контролем.

Прихожан старуха муштровала, как унтер-офицер. Для нее не было разницы, давно или недавно ходит человек в церковь. Если видела, что свечи передают левой рукой, прямо в руку вцеплялась, на ходу свечу перехватывала и шипела: «Правой, правой рукой передавай, правой!» И хотя отец Михаил объяснял ей, что нигде в уставах Церкви не сказано о таком правиле, что и левую руку Господь сотворил, старуха была непреклонна. «Ах, матушка, матушка, — сетовал отец Михаил, — у тебя ревность не по разуму».

Когда старуха дежурила у праздничной иконы, или у мощей преподобномучеников, или у плащаницы, то очереди молящихся стояли чинно и благолепно. Когда, по мнению старухи, кто-то что-то делал не так, она всем своим видом показывала этому человеку все его недостоинство. Особенно нетерпима была старуха ко вновь приходящим в храм, к молодежи. Женщин с непокрытыми головами она просто вытесняла, выжимала на паперть, а уж тех, кто заскакивал в брюках или короткой юбке, она ненавидела и срамила. «Вы куда пришли? — неистово шептала она. — На какую дискотеку? Вы в какие это гости явились, что даже зачехлиться не можете, а?!»

А уж намазанных, наштукатуренных женщин старуха готова была просто убить. Она очень одобрила отца Михаила, когда он, преподавая крест по окончании службы, даже отдернул его от женщины с яркой толстой косметикой на лице и губах. «Этих актерок, — говорила старуха, — убить, а ко кресту не допускать».

А еще мы всегда вспоминаем, как старуха укротила и обратила в веру православную одного бизнесмена. Он подъехал на двух больших серых машинах (цвета мокрого асфальта, говорили знающие), вошел в храм в своем длинном кожаном пальто с белым шарфом, шляпу, правда, снял. Вошел таким начальником, так свысока посмотрел на всех нас. А служба уже кончилась, прихожане расходились.

— Где святой отец? — резко и громко сказал незнакомец. — Позовите.

— Какой святой отец? — первой нашлась старуха. — Ты нас с католиками не путай. У нас батюшка, отец Михаил.

Отец Михаил, снявши в алтаре облачение, шел оттуда в своей серой старенькой рясочке. Незнакомец картинным жестом извлек пачку заклеенных купюр и, как подачку, протянул ее отцу Михаилу.

— Держи, святой отец!

— Простите, не приму. — Отец Михаил поклонился и пошел к свечному ящику.

Оторопевший незнакомец так и стоял с пачкой посреди храма. Первой нашлась старуха.

— Дай сюда, — сказала она и взяла пачку денег себе.

— Тебе-то зачем? — опомнился незнакомец. — Тут много.

— Гробы нынче, милый, дорогие, гробы. На гроб себе беру. И тебя буду поминать, свечки за тебя ставить. Ты-то ведь небось немощный, недокормленный, до церкви не дойдешь, вот за тебя и поставлю. Тебя как поминать? Имя какое?

— Анвар, — проговорил незнакомец.

— Это некрещеное имя, — сурово сказала старуха. — Я тебя буду Андреем поминать. Андреем будешь, запомни. В Андрея крестись.

Крестился или нет, переменил имя или нет этот бизнесмен, мы не знаем. Знаем только, что деньги эти старуха рассовала по кружкам для пожертвований. Потом отец Михаил, улыбаясь, вспоминал: «Отмыла старуха деньги демократа».

Непрерывно впадая в грехи осуждения, старуха сама по себе была на удивление самоукорительна, питалась хлебушком да картошкой, в праздники старалась сесть с краю, старалась угадать не за стол, а на кухню, чтоб стряпать и подавать. Когда к отцу Михаилу приходили нужные люди и их приходилось угощать, старуха это понимала, не осуждала, но терпела так выразительно, что у отца Михаила кусок в рот не лез, когда старуха приносила с кухни и брякала на стол очередное кушанье.

Был и еще грех у старухи, грех гордости своей внучкой. Внучка жила в другом городе, но к старухе приезжала и в церковь ходила. Она была студентка. Помогала старухе выбивать коврики, зимой отскребать паперть, а летом... а летом не выходила из ограды: они обе очень любили цветы.

Церковный двор у нас всегда благоухал. Может, еще и от этого любили у нас крестить, что вокруг церкви стояли удобные широкие скамьи, на которых перепеленывали младенцев, а над скамейками цвели розовые и белые кусты неизвестных названий, летали крупные добрые шмели.

На Пасху к нам приезжал архиерей. Конечно, он знал нашу строгую старуху и после службы, когда на прощание благословлял, то сказал старухе, улыбаясь: «Хочу тебя задобрить» — и одарил старуху нарядным платком, на котором золотой краской был изображен православный храм и надпись: «Бог нам прибежище и сила». Именно такими платками уже одаривал старух отец Михаил, но мы увидели, как обрадовалась старуха архиерейскому подарку, и поняли — свой платок она отдаст внучке.

И вот ведь что случилось. Случилось то, что приехала внучка, примерила платок перед зеркалом, поблагодарила, а потом сказала:

— А я, бабушка, в наш храм больше не пойду.

— Почему? — изумилась старуха.

Она поняла, что внучка говорит о том храме, в городе, где училась.

— А потому. Я так долго уговаривала подругу пойти в церковь, наконец уговорила. Не могла же я ее сразу снарядить. Пошла, и то спасибо: она из такой тяжелой семьи — отец и братья какие-то торгаши, она вся в золоте, смотреть противно. А я еще тем более была рада, что к нам в город американский десант высадился, пасторы всякие, протестанты, баптисты...

— Я бы их грязной шваброй!

— Слушай дальше. Они заманивали на свои встречи. Говорят: напишете по-английски сочинение и к нам поедете в гости. И не врали. Подруга написала — она ж английский с репетиторами, — написала и съездила. Ей потом посылка за посылкой всякой литературы. Тут я говорю: «Людка, ты живи как хочешь, но в церковь ты можешь со мной пойти для сравнения?» Пошли. И вот, представляешь, там на нас такая змея выскочила, зашипела на Людку: «Ты куда прешься, ты почему не в чулках?» А Людка была в коротких гольфах. Ты подумай, баб, прямо вытолкала, и все. Людка потом ни в какую. Говорит, в Америке хоть в купальнике приди, и ничего. И как я ее ни уговаривала, больше не пошла.

— В купальнике... — пробормотала старуха.

И заходила по комнате, не зная, что сказать. Ведь она слушала внучку, и будто огнем ее обжигало, будто она про себя слушала, будто себя со стороны увидала. А она-то, она-то, скольких она-то отбила от Божьего храма! «Господи, Господи, — шептала старуха, — как же Ты, Господи, не вразумил меня, как терпел такую дуру проклятую?»

Внучка пошла по делам, а старуха бросилась на колени перед иконами и возопила:

— Прости меня, Господи, неразумную, прости многогрешную!

И вспомнилось старухе, как плакали от нее другие уборщицы, от ее немых, но явных упреков, ведь которые были ее и постарше, и слабее, а Богу старались, как могли, потрудиться, а она их вводила в страдания. Ста-

руха представила, как ее любимую внучку изгоняют из храма, и прямо-таки вся залилась слезами.

А она-то, она-то! Да ведь старуха как в какое зеркало на себя посмотрела! Были, были в ее жизни случаи, когда она так же шипела, как змея, — прости, Господи, — на молоденьких девчонок в коротких юбках или простоволосых. Где вот они теперь, миленькие, кто их захороводил?

И вспомнила старуха, как однажды, в престольный праздник, прибежала в храм и бросилась на колени перед распятием женщина и как старуха резко вцепилась ей в плечо: «Разве же встают в праздник на колени?» — и как женщина, обращая к ней залитое светлыми слезами лицо, торопливо говорила: «Матушка, ведь сын, сын из армии вернулся, сын!»

А как однажды она осудила женщину, другую уже, за то, что та уходила из храма после «Херувимской». И как эта женщина виновато говорила ей: «Свекор при смерти».

А как она осуждала товарок за то, что уносят домой принесенные в храм хлеб и печенье. Конечно, их всегда им раздавали, но старуха осуждала, что берут помногу. А может, они соседям бедным несли или нищим, сейчас же столько нищеты...

— Боже, Боже, прости меня, неразумную, — шептала старуха.

А больнее всего ей вспоминалось одно событие из детства. Было ей лет десять, она позавидовала подругам, что у них пальто с воротниками, а у нее просто матерчатое. И пристала к отцу. А отец возьми да и скажи: «Надо воротник, так возьми и отнеси скорняку кота». Был у них кот, большой, красивый, рыжий, в лису. И вот она взяла этого кота и понесла. И хоть бы что, понесла. Кот только мигал и щурился. Скорняк пощипал его за шерсть на лбу, на шее, на спинке, сказал: «Оставляй». И был у нее красивый воротник, лучше всех в классе.

— Ой, не отмолиться, ой, не отмолиться! — стонала старуха.

К вечеру внучка отваживалась с нею, давала сердечные капли, кутала ноги ее в старую шаль, читала по просьбе старухи Псалтырь.

И с той поры нашу старуху как перевернуло. Она упросила внучку привезти на следующие каникулы подругу, вместе с ними оставалась после службы на уборку, и уже не было такого, чтоб кто-то терпел от нее упреков или укоризны.

А еще вот что сделала старуха. У нее была хорошая белая ткань с пестренькими цветочками — ситец. Хранила его старуха на свою смерть. А тут она выкроила из ткани десяток головных платков разной величины, принесла в церковь, отдала Варваре Николаевне за свечной ящик. И когда какая женщина или девушка приходила в наш храм с непокрытой головой, та же старуха просила ее надеть платок.

А звали нашу старуху тетя Маруся. И платочки ее с тех пор так и зовут — тети-Марусины.

По местам стоять

Самой пронзительной мечтой моего детства было стать моряком. А военкомат послал меня в ракетную артиллерию. Тоже хорошо. Но стремление дышать воздухом морей и океанов было всегда. Помню учения «Океан» 1970 года на Северном флоте, я писал о них и жил на эсминце «Отрывистый». Тогда и познакомился с молодым выпускником морского училища, порывистым, вихрастым лейтенантом. Он не ходил, он летал по кораблю.

Тридцать лет прошло. Москва, патриаршая служба в память погибших моряков-подводников. Плачущий седой капитан первого ранга. Не чувствующий горячих капель воска, стекающих с горящей свечи, он отрешенно и горестно смотрел на алтарь. «Он! — толкнуло меня. — Он, тот лейтенант». У выхода я подождал его. Мы встретились глазами.

— Североморск, — сказал я, — эсминец «Отрывистый». Учения «Океан».

— Писатель! — воскликнул он. — Есенина читал. Чего ж ты такой старый?

— А жизнь-то какая!

Мы крепко обнялись. Не слушая никаких возражений, капитан первого ранга, сокращенно, по-морски, каперанг, или капраз, повез меня к себе.

— Море — это навсегда, — говорил он, лавируя на мокром шоссе рулем «жигулей», как штурвалом катера. — Навсегда. Это ж про нас, мореманов, шутка: «Плюнь на грудь, не могу уснуть без шторма». Я после Северного флота везде посолился — и на Тихом, и на Черном, заканчивал в Генштабе. Сейчас... сейчас, ну что сейчас, живу.

И вот мы сидим в его квартире. Она настолько похожа на корабль, что, кажется, пройдет секунда — и каперанг, прямо в шлепанцах, отдаст команду: «С якоря сниматься, по местам стоять!»

— Сегодня мне одна команда осталась, — невесело говорит он, — команда эта: «Отдать концы!» И отдам. И все мы, моего возраста мореманы, тоже. Зачем нам жить? Чтоб еще и еще видеть позор и поругание флота?

Я стараюсь успокоить моряка, но, конечно, это бесполезно. На стене карта «Мировой океан». На карте синими флажками места трагедий, кораблекрушений, катастроф. На южной части Баренцева моря нарисован черный крест, тут потопили атомную подлодку «Курск».

— Именно потопили, — говорит каперанг. — Сними с карты кортик, дай сюда. Нет, достань из ножен. Вот, кладу руку. Руби! Не бойся, руби. Я руку даю на отсечение, что «Курск» потопили американцы. Если у наших хватит смелости, это все узнают. У них, у натовцев, недавно был фильм «Охота за “Красным Октябрем”», это рассказ о потоплении подлодки типа «Курск». Они, вопреки всем конвенциям, вошли в район учений, что уже за всеми пределами допустимого. И шарахнули, как акулы кита на мели. Шарахнули и добивали, чтоб никого в живых не осталось, чтоб без свидетелей. Чего ж не рубишь? Прав я, прав, с рукой останусь.

Каперанг тяжело дышит, глядит на стол. На столе по ранжиру стоят: бутылка водки, фляжка коньяку и пузырьки с сердечными каплями. Подумав, каперанг берется за самую маленькую емкость.

— Первым стал задницу американкам лизать Никита-кукурузник. Вроде смелый, по трибуне ботинком стучит, а новейшие корабли резали на металлолом, лучших офицеров увольняли. Помню, в газетах, в той же «Правде», всякие статьи, вот, мол, как полковник счастлив, что пошел в ученики слесаря на завод. Все Хрущ лысый! А свою трусость и подлость списал на батьку усатого. Мне батька тоже не икона, но нас при нем боялись. Боялись дяди Сэмы, и слоны их, и ослы боялись. Другого языка эти животные не понимают. Америку же образовала европейская шпана, отбросы каторжные, уголовщина. На индейское золото купили европейские мозги, вот и весь секрет. Про индейцев создали фильмы, мозги придумали конституцию. У них национальные интересы Штатов во всем мире. Я был у них на базе в штате Аризона, там огромный плакат. Глобальная власть Америки — контроль за всем миром. И не меньше. Леня еще Брежнев, как бывший вояка, держался, а уж Горбач, а уж Боря-хряк, эти подмахивали НАТО как могли. Заметил, что они ничего не вякали, когда парней пытались вытащить? И этот, теперешний, с ними встречается... Нет, пока он себя мужиком не проявит, ничего у него не выйдет. Слопают, или сам по-русски пошлет всех на три буквы и запьет. Вон Бакатин, мне говорили, пьет вмертвую. То есть совесть еще есть. А! — Каперанг взялся за емкость побольше. — Давай, не чокаясь, за парней. — Он выпил, и видно было, еле справился со слезами. Встал, подошел к окну, поглядел на московскую осень. Подошел к карте. — Где еще придется крест рисовать? А я ведь, знаешь, и не думал, что еще слезы остались, а за это время сколько раз прошибало. До какого сраму дожили: поехал наш пьяный боров в Берлин оркестром дирижировать, когда с позором нас из Европы гнали, э! Коньяк — это несерьезно, давай «кристалловской». — Каперанг успокоился, сел, смахнул на пол стопку газет. — Если б не эта зараза, да не этот вот, — он показал на телевизор, — мы бы выжили. Я когда энтэвэшников смотрю, я весь экран заплевываю. Думаешь, один я так? Все бы эти плевки на них, они бы в них захлебнулись. Вот телебашня горела не просто, как объясняют, мол, от перенагрузки. От жадности! Грузили провода по-черному, они и задымились. Но, главное, даже уже и башня не выдержала всего того срама, что ее заставляли передавать. Вещи и предметы не безгласны — это, кстати, моряки лучше всех знают. Да и вообще я к старости стал умные книги читать. Где я раньше был? Вот прочти у Иоанна Златоуста о зависимости погоды и урожаев от нравственности общества. Это очень точно. Я, кстати, опять же с детства знал пословицу «Что в народе, то в погоде», так ведь во всем. Вот я полощу начальство, вся страна полощет, но давай задумаемся: мы же их заслужили.

— Да! — резко вдруг сказал он, я даже вздрогнул. — Знаешь, когда мы первый раз серьезно по морде схлопотали?

— В Сербии?

— Точно. Бандиты и хамы бомбили братьев, мы только вякали протесты. Потом послали Красномордина замирять — еще бы, умеет, перед бандитами Басаева в Буденновске шестерил... А, чего-то я совсем разволновался.

Я стал было прощаться, но каперанг заявил:

— Нет, я тебя в таком настроении не отпущу, нет. Я близко знал нынешнего адмирала, для конспирации назову Черкашин, мы с ним на Черном болтались. А уже началась горбачевщина, он всем торопился доложить, что мы за мир, мы разоружаемся. Американцы трусы, поэтому слабину чувствуют. Стали к нам захаживать. Они и всегда-то в нейтральных водах паслись, тут стали наглеть: зайдут в территориальные наши воды, подразнят, потом хвостом вильнут. Мы докладываем: что делать? Нам: не конфликтовать. Ладно. Те хамеют, ходят по палубе в трусах, кричат: «Рашен, делай собрание, голосуй». Ладно. А этот Черкашин был вторым на эсминце. Я тогда был начальником боевой части. Сидим в кают-компании, материмся. Черкашин командиру говорит: «Товарищ командир, вы же два года без отпуска, пора же вам отдохнуть. Оставьте на меня корабль». Командир, золотой был мужик, вечная ему память, смеется: «Нет, Коля, боюсь, больно ты горяч, как бы международного скандала не наделал».

Ладно. А главком флота был, это был главком, он тоже в Москве зубами скрипел, мы ему прямую картинку показывали, он же видел, как янки к нам голым задом стоят. И вот — слушай. Не знаю, как они договорились, но думаю, что Черкашин это все сам проделал. Он заступил на вахту и ночью палубникам приказал все шлюпки, все, что за бортом висит, прибрать. То есть остались с чистыми бортами. Утро. Те, на крейсере, кофе попили, прут в наши воды, внаглую прут. Гляжу, Черкашин сам у руля. Те прут, они же привыкли, что мы безгласны, у нас же гласность только тут. — Каперанг ткнул рукой в направлении телевизора. — Прут. Наш эсминец спокойнехонько пошел навстречу, сделал ювелирный маневр и навалился бортом на борт американца. Те охренели. Все их шлюпки захрустели, как орехи, бассейн на палубе к хренам расплескался. Мало того, Черкашин спокойно, но резко замедлил и еще протер их по борту. А дальше еще мощней. Отработал полный назад, потом полный вперед и навалился на другой борт и его прочистил.

— Боже ж ты мой, — воздел каперанг руки, — что началось! Через десять минут Горбач знал и разродился: разжаловать, наказать, посадить виновных, извиниться! Но главком, повторяю, мужик был от и до, тут же докладывает: накажем, уже наказали, виновного офицера представляем к суду чести, списываем на берег. Да, суд чести был честь по чести, так скажу, Черкашина качнули. А с эсминца, точно, списали... на другой эсминец. Командиром. Ты знаешь, я уверен, американцы это очень хорошо помнят. Тогда ж сразу уползли в Стамбул бока шпаклевать. С ними только так. Только так. Во-первых, они не за деньги не рискуют, жадны, во-вторых, трусливы.

Но все время теперь будут кусать, как шакалы льва, который слабеет. Пока не дашь отпор, будут приставать.

Мы простились. Кортик со стуком вернулся в ножны и водрузился на место, в центр Мирового океана.

Он вышел меня проводить до лифта. Лифта не было почему-то.

— Чубайс электричество отключил, — невесело пошутил каперанг. — А знаешь, как он умирать будет? Он даже не помирать, он подыхать будет. На вонючем тюфяке и при свете огарка. Да. Остальные приватизаторы примерно так же. Я человек не злой, но знаю, что возмездие неотвратимо. Вот вы там пишете, что, мол, велика угроза Америки, это так, и мы об этом поговорили. Но главная угроза здесь. Не масоны окружили президента, а уголовники. За деньги накупили мест в Думе, депутаты у них — шестерки, уже им и цена известна. Криминал — вот угроза. Но, как всегда, наше дело правое, победа будет за нами. У уголовников и нравы уголовные. Знаешь, как говорится: «Жадность фраера сгубила», этих тоже сгубит. При условии, что они до тех пор нас не сгубят. Давай. Топай по трапам пешком. Да! — воскликнул он. — Самое главное, что ж вы не писали, что Сербию бомбили самолеты марки «Торнадо» и смерч «Торнадо» смел многие штаты тогда же. Возмездие же было. И еще будет. Держи пять, — сказал он, как говорят на флоте. — И крепко пожал руку и засмеялся: — Что же руку-то мне не отрубил, цела. А потому — прав я. Не бойсь, прорвемся! Главное — по местам стоять!

Янки, гоу хоум

Обычно фронтовики не любят смотреть военные фильмы. Даже не оттого, что в фильмах «киношная» война, оттого, что слишком тяжело вспоминать войну. Мне кто-то рассказал про одного ветерана, бойца пехоты, который пристрастился смотреть всякие «Хроники низколетящих самолетов», всякие сериалы, смотрел и плакал и говорил соседу, тоже фронтовику: «Вот ведь, Витя, как люди-то воевали, какая красота, а мы-то все на брюхе, да все в грязи, да все копали и копали...» Ветерану начинало казаться, что он был на какой-то другой войне, ненастоящей, а настоящая вот эта, с музыкой и плясками.

Мы, послевоенные мальчишки, прямо-таки бредили войной. Она была и в фильмах («Подвиг Матросова», «Голубые дороги», «Подвиг разведчика»), она была и в наших играх, и в каждом доме. Там отец не вернулся, там вернулся весь искалеченный, там все еще ждали. Мой отец, прошедший еще и со своим единственным глазом трудармию (а что это такое, лучше не рассказывать), разговоры о войне не выносил, и я не приставал. Дяди мои, на мой взгляд, тоже не подходили для боевых рассказов. Уж больно как-то не так рассказывали.

— Дядь Федя, тебя же ранило, — приставал я. — Ну вот как это?

— Как? А вот становись, я тебе по груди с размаху колотушкой охреначу, вот так примерно.

Другой дядя, моряк, был даже офицер. После войны он вернулся к своему плотницкому ремеслу. Мы крутились около, помогая и ожидая перекура. Спрашивать опасались, мог нас послать не только в сельпо — подальше. Но дядька и сам любил вспомнить военные денечки.

— Ох, — говорил он, — у нас в буфете, в военторге, две бабы были, умрешь не встанешь. К одной старлей ходил, к другой вообще комдив. Однажды... — Тут нам приказывали отойти, ибо наши фронтовики, в отличие от сегодняшней демократической прессы, заботились о нравственности детей. Но то, что нам позволяли слу-

шать, было каким-то очень не героическим.

— Дядь, — в отчаянии говорил я, — ведь у тебя же орден, ведь ты же катерник, ты же торпедник, это же, это же!

— Ну и что орден? Дуракам везет, вот и орден, — хладнокровно отвечал дядя, плюя на лезвие топора и водя по нему бруском.

— Ну расскажи, ну расскажи!

— Не запряг, не нукай. Уж рассказывал. Подошел транспорт, надо потопить.

— Транспорт чей? — уточнял я. Это больше для друзей.

— Немецкий, чей еще? Послали нас. Как начальство рассуждало: пошлем катер, загнутся четверо — невелика потеря, и рассуждали правильно: война. Четыре торпеды. Торпеды нельзя возвращать, надо выпустить. Категорически. Мы поперли. Я говорю, дуракам везет, на наше счастье — резко туман. Везет-то везет, но и заблудились. Прем, прем да на транспорт и выперли. С перепугу выпустили две торпеды и бежать со всех ног...

— Почему с перепугу?

— А ну-ка сам вот так выпри на транспорт, это ж гора, а мы около как кто? То-то. Бежать! Утекли. Еле причал нашли. Ну, думаем, будет нам. Торпеды приперли. Я с горя спирту резанул. Вдруг из штаба — ищут, вызывают. А куда я пойду, уж расколотый, мутный. «Скажите, — говорю, — что башкой треснулся, к утру отойду». В общем-то, кто-то все равно настучал, что я взболтанный. А почему вызывали — транспорт-то мы потопили! Вот мать-кондрашка, сдуру потопили. Так еще как приказ-то звучал: «...используя метеорологические условия и несмотря на контузию, и экономя, слышь, боезапас...» — вот как!

— За это надо было Героя дать, — убежденно говорил я.

Спустя малое время, окончив десятилетку, я стал работать литсотрудником районной газеты. И получил задание написать о Героях Советского Союза. Их у нас в районе было четверо. Но один уже сидел в тюрьме за то, что надел свои ордена и медали на собаку, а сам стрелял из охотничьего ружья в портрет отца народов: второй, инвалид, ездивший на трехколесной трещащей инвалидной самоходке, был куда-то увезен, говорили, что в интернат для ветеранов. На самом же деле инвалидов просто убирали с глаз долой, была такая политика, чтоб поскорее забыть войну, чтоб ничего о ней не напоминало.

Уже и холодная война заканчивалась, уже Хрущев съездил в Америку, постучал ботинком по трибуне ООН, уже велел везде сеять кукурузу, уже подарил Крым своей бывшей вотчине, тут и фронтовиков решили вспомнить. И мне — не все же кукурузу воспевать — выпала честь написать очерк для нашей четырехполоски «Социалистическая деревня». Редактор узнал, кто из двух оставшихся Героев передовик мирного труда, и выписал командировку. Мы не ездили в командировку, а ходили. Так и говорили: пошел в командировку. На юг района — сорок километров, на запад и восток — по тридцать, на север — шестьдесят; все эти километры я исшагал и по жаре, и по морозу, и в дождь, и в метель. И какое же это было счастье, это только сейчас доходит до сознания. Как мела через дорогу узорная поземка, как напряженно и все-таки успокаивающе гудели столбы, как далеко по опушке леса пролетало рыжее пламя лисы, как проносился, ломая наст, тяжелый лось, а весной далеко и просторно разливалась река и попадали в заречную часть только на катерах сплавконторы. А летние вечера, белые от черемухи улицы деревень, а девичий смех, от которого туманилась голова и ощутимо билось сердце, что говорить!

Герой будущего очерка был механизатором. В военкомате я выписал все данные на него и знал, что он получил Золотую Звезду за форсирование Днепра. Готовые блоки фраз уже были в фундаменте очерка: «В то раннее утро рядовой такой-то такого-то энского полка встал до соловьев (мне очень хотелось про соловьев). Он подошел к Днепру, умылся речной водой и вспомнил родную реку детства, свое село» (мне очень хотелось, чтобы на Днепре вспомнили Вятку и мое село)... Ну и далее по тексту.

— А вы вспоминали в то утро свою родину? — спросил я, когда, найдя Героя, стал его допрашивать.

— В какое утро?

— В утро форсирования Днепра.

— А, нет, мы ночью погребли.

— Но вспоминали? (Я мысленно переделал утро на тревожную ночь.)

— Может быть, — неохотно отвечал механизатор. — Тут баба с печки летит, сто дум передумает.

— Вы вызвались добровольцем?

— Да, вызвался.

— Почему именно?

— Дурак был. — Механизатор посмотрел на меня. — Вроде вас возрастом. Молодой был, вот и попер. Там как заинтересовывают — сто первых выйдут на плацдарм, зацепятся, день продержатся — Герой. Кто? Ну и пошел два шага вперед.

— Но вы же потом не жалели, когда получили награду?

— Чего жалеть, вот она. Сейчас, правда, льготы за ордена и проезд бесплатный сняли, а так чего ж... в школу приглашали.

— Да, правильно (надо в школе побывать), дети должны стать патриотами.

Сделаю отступление. Мы вырастали так, что умереть за Родину было нашей главной мечтой. О, сколько раз мы играли в Матросова, сколько же раз закрывали грудью амбразуру и умирали. Умереть за Родину было так же естественно, как дышать...

Я принес очерк редактору. Отдал и встал навытяжку. По лицу читающего очерк редактора я понял, что отличился. Только два места он похерил:

— Что это такое — вспомнил родину? А Днепр разве не наша родина? (Тогда не было позднее выдуманного термина «малая» родина.) И второе: «Прямо в песке закопали убитых товарищей». Напишем: «После боя отдали воинские почести павшим».

Я не возражал. Но за день до запуска очерка в печать редактор позвонил в колхоз, где работал механизатор, и узнал, что тот напился и наехал трактором на дерево. Редактор срочно послал меня на лесоучасток, где жил последний, четвертый, Герой.

Лесоучасток назывался красиво — Каменный Перебор, может, оттого, что стоял на берегу прозрачной каменистой реки Лобани. Этот Герой тоже был механизатором и тоже получил Звезду за форсирование реки. Но не Днепра, а Одера.

— Да и Вислу форсировали, — сказал он. Он все-таки был хоть чуть-чуть поразговорчивей, чем сельский. — Потом всяких французов, датчан выколупывали.

— Как? — спросил я потрясенно. — Французы же наши союзники.

— Да ладно, союзники, — отвечал он. — Какие там союзники, все они там повязаны. Европа вся сдалась немцам, они ее не тронули, потом они им и отрабатывали. Ну-ка сравни Минск и Париж, чего от них осталось?

— Но французское Сопротивление?

— Было. Но раздули, — хладнокровно отвечал он. — У них по лагерям лафа, артисты ездили, нашим — смерть. Это, братишка, была война великая, но помогать они стали, притворяться, когда мы переломили Гитлеру хребет. Еще те сволочи, — неизвестно о ком сказал он. — Да вот хоть и американцы. Встреча на Эльбе, встреча на Эльбе — кукарекают. А что встреча? Вот я тебе про встречу расскажу. Мы пошли мая десятого-одиннадцатого по Берлину — уже везде американские часовые торчат, патрули американские, они большие мастера победу изображать. Зашли, сели в ресторане. Второй этаж. Внизу лужайка. В углу американцы гуляют, ржут. И чего-то в нашу сторону дали косяка, чего-то такое пошутили. Ну мы и выкинули их в окно.

— Как? — спросил я потрясенно. — Выкинули в окно? Американцев?

— Ну. Да там же лужайка, не камни же. Потом туда им столы выкинули и стулья. И велели официанту отнести чего закусить и выпить.

— А... а дирекция ресторана?

— Эти-то? Еще быстрее забегали. Мы так хорошо посидели. Серьезно посидели, — добавил он, — и пошли. И идем мимо американцев. Те вскакивают, честь отдают. Вот это встреча на Эльбе. С ними только так. А то сейчас развякались «инди-руси, бхай-бхай», это с американцами-то? Да эти бы Макартуры и Эйзенхауэры первыми бы пошли давить нас, если бы Гитлер перевесил. Вот немцы могут быть друзьями, это да.

Я был так потрясен этой крамольной мыслью, что зауважал фронтовика окончательно.

Вот такие дела. И еще сорок лет прошло, протекло, как песок в песочных часах. Живы ли вы, мои милые герои? Я вспоминаю вас и низко кланяюсь всем вам, моим отцам, спасшим Россию.

И думаю: вы-то спасли, а мы продали. Продали, и нечего искать другого слова. Продали и предали. И вот я иду по оккупированной России, через витрины, заваленные западным химическим пойлом и куревом, отравленной пищей, лаковой порнографией, смотрю на лица, искалеченные мыслью о наживе, смотрю, как ползают на брюхе перед американской помощью экономисты, как политики гордятся тем, что им пожал руку саксофонист, и думаю: «Россия ты, Россия, вспомни своих героев. Вспомни Александра, царя, который в ответ на какие-то претензии англичан к нам, высказанные послом Англии за обедом, молча скрутил в руках тяжелую серебряную вилку, отдал послу и сказал: “Передайте королю”. Или, когда он ловил рыбу, ему прибежали сказать, что пришло какое-то важное донесение из Европы, а он ответил: “Европа подождет, пока русский царь ловит рыбу”». Но ведь и наш, нынешний, тоже ловит рыбу. А вот интересно: он ловит, а ему бы прибежали сказать охранники, что зовет Буш. Ведь бросил бы, чай, удочку.

Еще могу добавить, уже от себя, что не только те, при встрече на Эльбе, американцы трусливы, но и теперешние. У меня есть знакомый американец, русист. Он с ужасом сказал, что все эти сникерсы, всякие «Макдоналдсы», стиральные порошки, средства для кожи и волос — все это жуткая отрава и зараза.

— Тогда спаси моих сограждан, — попросил я, — выступи по телевизору. Тебе больше поверят, чем мне.

И что же? Испугался смертельно мой американец. Разве осмелится он хоть слово вякнуть против тех компаний, которые наживаются у нас? Не посмеет.

А еще почему трусливы американцы? Они жадны. А жадность обязательно обозначает трусость. Давайте проверим — вот придет в России к власти то правительство, которое любит Россию, не шестерит перед

разными валютными фондами, верит в народ, в Бога, знает, что нет запасной родины, и что? И все эти сникерсы сами убегут.

В годы детства и отрочества, помню, часто печатались в газетах и журналах фотографии и рисунки из разных стран, на которых были написаны слова: «Янки, гоу хоум», то есть — «янки, уходите от нас». Все беды мира связывались с американской военной или экономической оккупацией. И наши беды отсюда. Так что на вопрос «Что делать?» отвечаем: писать на заборах и в газетах: янки, гоу хоум. Не уйдете в дверь, выкинем в окно. На лужайку. Перед Белым домом.

Ради улыбки

Служил я три года в нашей победоносной Советской армии и никакой дедовщины и видом не видывал. Ну да, были и старики, были и салаги, естественно. Но чтобы старослужащие издевались над новобранцами — никогда! Знаю, что говорю, я дослужился до старшины дивизиона. Вот составляю наряды, решаю, кого куда послать. И, конечно, не буду же своих одногодков на третьем году службы загонять в кочегарку или судомойку. На это салаги есть. И это, согласитесь, нормально и более чем естественно.

Но одну весьма милую армейскую шутку вспомнил, когда дети спросили: «А какие у вас были раньше первоапрельские шутки?» Тут я строго ответил, что первое апреля — это начало недели перед Благовещением, это время Великого поста, какие тут шутки? Но вспомнил розыгрыш из армейского времени, и с удовольствием рассказал. И коротко запишу.

В дивизион осенью пришло пополнение — хлопцы с Западной Украины. Ребята на службу рьяные, особой возни с ними у сержантов не было. Даже до сих пор некоторые фамилии помню: Доть, Аргута, Коротун. Титюра, Балюра, Мешок. Муха, Тарануха, Поцепуха. Так я их тройками и запоминал, так и в наряды наряжал. Нормальные хлопцы. Одним только от наших, вятских, отличались — сильно любили поощрения.

— Товарищ старшина, вы же ж сами дуже хвальны были за наряд по кухне.

— И шо ж с того? — спрашивал я.

— Тады же ж мабуть благодарность перед строем треба размовить.

— Мабуть иди, — сурово говорил я. — Награды в нашем славном ракетном дивизионе не выпрашивают, их, когда надо, дают. И, когда надо, вы их получите. Ясно? Или це дило тоби треба розжувати? На твоей ридной мове?

И вот мои сержанты-третьегодники (мы служили по три года) задумали на первое апреля нижеследующую шутку.

Они пошли, тайком от меня, в штаб к знакомой машинистке, встали на колени и умолили ее напечатать на чистой странице, даже не на служебном бланке, приказ о досрочном присвоении звания ефрейтора всем нашим первогодкам. «В связи с тем, — значилось в приказе, — что нижепоименованные рядовые показали себя образцовыми в воинской и политической подготовке, в дисциплине, в несении нарядов по внутренней и караульной службе». Сержанты поклялись машинистке, что никто из офицеров этого листка не увидит, что его вернут ей и при ней уничтожат. Парни были огневые, красавцы: Толя Осадчий из Киева, Леха Кропотин и Рудик Фоминых из Вятки, Лева Стулов из Горького, уговорили. И листок, как обещали, потом вернули.

Звание ефрейтор — первичное, одна лычка на погонах. Дальше идут младший сержант — две лычки, просто сержант — три лычки, старший сержант — одна широкая и так далее. Прапорщиков при нас не было.

Обычно после ужина я убегал в библиотеку, оставляя дивизион на дежурного. Если что, меня всегда знали, где искать. Сержанты привели дивизион с ужина и, не распуская строя, объявили что поступил приказ об очередном присвоении воинских званий, что его торжественное оглашение будет завтра на общем построении, но надо к этому оглашению подготовиться, то есть пришить лычки. Тем, кому звания присвоены.

— С приказом можно ознакомиться в ленинской комнате на доске почета.

Почему на доске почета, а не у тумбочки дневального, это тоже было продумано: не хотели подставлять ни дежурного, ни дневального.

Строй распустили, все кинулись читать приказ. Радостные крики оглашали казарму. Парни мои объясняли, что это такая особая честь нашему дивизиону, а мы и правда только что хорошо провели учебные стрельбы, что, конечно, это редкость редчайшая, чтобы военнослужащие получали звание так быстро, но тут особый случай.

Словом, сели салаги за иголки и нитки. Лычки им отмерил каптенармус Пинчук. Погоны новые выдал он же. Он же и собрал вскоре эти погоны, но уже с пришитыми лычками. Сказал, что раздаст утром, на построение.

Никто не заметил, что к ночи приказ исчез с доски. И я, прибежавший проводить отбой и читать наряд на завтра, о нем и понятия не имел.

Вообще я потом даже сетовал парням, что меня не ввели в курс розыгрыша, но парни объяснили, что не хотели меня подводить. И не подвели. Утром, после завтрака, перед построением сержанты вызвали меня в ленкомнату и ввязали во всегда непростое распределение нарядов на будущую неделю по батареям и взводам. И что-то сильнее обычного спорили, я даже изумлялся. Время летело. Я посмотрел на часы и оторвался от бумаг:

— Крикните дежурному: выходи строиться.

Вскоре дежурный заскочил в дверь:

— Старшина — комдив!

Выйдя на крыльцо, я привычно и мгновенно посмотрел на выровненные по белой линии носки начищенных сапог, скользнул взглядом по гимнастеркам, заправленным в ремни, по блестящим бляхам, по головным уборам и скомандовал:

— Див-зион, р-рясь!... Ир-но! Равнение напра-о!

И четко, по-строевому, пропечатал несколько шагов навстречу нашему подполковнику.

— Тарщ подполковник, вверенный вам дивизион на утренний осмотр и развод построен!

И увидел вдруг взгляд подполковника. Он смотрел с каким-то недоумением, но не на меня, на выстроившихся солдат. Я невольно тоже поглядел и... и чуть устоял — в строю стояли сплошь ефрейторы. Все в новехоньких погонах, все очень радостные. Они были готовы гаркнуть; «Служим Советскому Союзу!».

— Это кто у тебя тут выстроился? — ласково спросил комдив.

— Понятия не имею, — искренне ответил я.

— А сам ефрейтором быть не хочешь? — поинтересовался комдив.

А дальше? Дальше пошла разборка. Таскали к комдиву и сержантов, и «ефрейторов». Все честно говорили, что был приказ. Был. «Вот утуточки, урамочке». И все это подтверждали.

Но уже во всей части шел такой хохот, так всем понравился наш розыгрыш, что, конечно, было глупо истолковать его как преступление или тому подобное. Дежурному сержанту влепили внеочередное дежурство, только и всего. Это ж в тепле, в казарме — это не караул, не круглосуточное бдение на позиции. Я сказал комдиву, что буду рад ефрейторскому званию и тому, если с меня снимут хомут старшины. Тем более у меня шел последний год службы, я начинал готовиться к приемным экзаменам в институте.

— Да ладно, — отмахнулся комдив, — иди, к экзаменам готовься.

Мы думали, что и «ефрейторы» не будут обижаться. Но вот как раз они-то и обиделись. И то сказать — только что приятно ощущали на погонах лычки — и нет их, сами же и спарывали. Даже сфотографироваться не успели.

— Кляты москали, — возмущались они.

Но мы не обижались. Я вообще искренне думал, что меня это прозвище возвышает. То все вятский был, а тут уже и москаль. Не так себе.

Вот такое было армейское первоапрельское происшествие.

Пока не догорят высокие свечи

За столом летнего кафе компания молодежи. Лица красные, жесты энергичные. Говорят громко, кружки по столу двигают резко и, кажется, разбили одну: около стола уборщица с веником и совком.

— Вы не возражаете?

Я повернулся — кто это таким детским голосом, — увидел мальчика и хотел послать к папе-маме, но разглядел — карлик. Лет сорока.

— Да, конечно.

— Люблю, — сказал он, ловко влезая на стул и двигаясь на нем ближе, — люблю на открытом воздухе выпить свежего пивка. Вы позволите? — Он перехватил у меня пустую кружку и передал уборщице. — Вы кто по профессии? — спросил он, поворачиваясь обратно. — Можете не отвечать, главное, что интеллигентный человек. И мы поймем друг друга. — И, хихикая, добавил: — Несмотря на явную разность величин.

Мимо нас к прилавку прошел мужчина, пошатнулся, задел кого-то из парней. Они все сразу вскочили и налетели драться. Каждый непременно старался ткнуть мужчине в лицо. Кепка слетела у него с головы. Уборщица успела быстрее всех. Оттащила мужчину, прикрикнула на молодежь. Тут мой карлик слез со стула, подбежал к упавшей кепке и стал ее подпинывать и топтать. При этом восторженно вскрикивал. «Вы позволите?» — спросил он парней. И вскоре сидел за их столом и потешал их.

Я невольно вспомнил карлика, который в моем детстве пас гусей. Имени его мы не знали, звали лилипутом. Он жил на мельнице, ходил босиком. Помню пруд и плотину после дождя. На глине глубокие детские следы. Лилипут очень боялся гусей. Пока гнал одних, другие забегали сзади и щипали.

Еще вспомнился театр лилипутов и афиша:

«ТЕАТР! ЛИЛИПУТОВ!!!»

Уборщица подняла кепку мужчины, хлопнула ею по стулу, унесла. Карлик что-то рассказывал парням. Парни хохотали и плескали в его кружку из своих.

Казалось, что у лилипутов крошечные паспорта, крошечные в них фотографии и вообще все капельное, кукольная посуда, маленькие весы и гири. Буханки хлеба хватает на весь театр на неделю. Когда мы узнали, что театр приехал, то нас уже от клуба было не оттащить. И дождались — изнутри вышла женщина-лилипутка. Губы накрашены, в губах папироса. «Мальчики, — сказала она, хотя любому мальчику была по пояс. — Нужен уголь — подводить брови. Кто принесет, получит контрамарку. — Мы молчали. — Ну! Простой уголь! Из печки».

Ближе всех жил Руслан, сын продавщицы. И то, что он опередит, я с великой горечью понял, когда добежал до своего дома и нахватал полную пазуху самоварных углей.

Окна в клубе были плотно занавешены, мы ничего не увидели, а Руслан рассказать ничего не сумел, только все повторял шутку из концерта: «Он в столовой говорит: а где сахар? Она говорит: вы как мешали? Направо? А сахар ушел налево».

...Молодняк за соседним столиком вдруг встал и, говоря нынешним языком, слинял.

— Вы позволите? — спросил карлик. — Интересует меня молодежь, — сказал он через минуту. Говорил он быстро, с удовольствием, хотя казалось, что говорить высоким голосом трудно. — Вы заметили, какова стадность? — спросил он. — Впятером за бутылкой. Будто нельзя одному. — Он почувствовал, что говорить мне с ним не хочется, но не отступился, наоборот, качнулся вперед, заговорил вполголоса: — Вы не думайте, у нас все так же, и свадьбы, и дорогие специальные кольца (он показал широкий желтый перстень), все как у вас, только по знакомству. Только у нас не рождаются дети. Нет детей! — трагически произнес он. Выждал паузу и закончил: — Мы рождаемся у нормальных людей. Н-но! Вопрос: кто нормальные?

Невольно я заметил, что ноги его в лаковых туфельках не достают до земли.

— Да, да, — сказал крошка, — это загадка природы: карликов рождают гиганты. Причем правильно говорить не лилипут, а карлик. Некоторые наши стеснялись этого слова, но возьмите Даля, у него нет слова лилипут. Даже в девятьсот третьем при переиздании словаря Даля Бодуэн де Куртенэ не включил слово «лилипут», проверьте. Видимо, Свифтов Гулливер еще не прошел по России. Это ведь оттуда страна Лилипутия. Забавно! — воскликнул карлик. — Свифт думал, что зло исчезнет, люди прочтут его книгу. Прошло три столетия — и что? Но это к слову. Когда не с чем бороться, зачем жить? Так вот, кому-то кажется благозвучнее «лилипут», хотя правильнее «карлик». А-а, теперь карликом обзывают всякого горбуна. Нет чистоты породы! Вы пейте, пейте. Я, с вашего позволения, тоже.

— У вас есть теория? — спросил он вскоре, утираясь большим желтым платком. — Нет? Ну, это нестрашно, в основном живут без теорий. Вот эти, например. Но узнать их подоплеку, изнанку...

— Это можно и без топтания кепки, без лизоблюдства. — Я все-таки не мог понять, чего ради он заискивал перед парнями.

— Если бы меня не перебивали, — сказал он, — но всегда думают, что в маленькой голове мало ума. Дело же не в килограммах мозга, а в извилинах. Грецкий орех или тыква? — спросил он. — Однако у нас пусты бокалы, я их наполню. Сейчас вы скажете, что страсть к услужливости у меня в крови, и ошибетесь. Просто я возьму без очереди, а вам не дадут.

И в самом деле очередь перед ним расступилась. От сдачи я отказался. Он спрятал ее, снова залез на стул.

— Благодарю. А ведь вы вряд ли богаче меня, у вас нет лаковых туфель и золотого кольца, и вовсе не модерновый костюм.

— И что же теория? — спросил я.

— Покончим сначала с этой, — ответил он, обхватывая кружку как маленький бочонок. И долго, по-комариному, пересасывал в себя жидкость. — Теория в том, — сказал он наконец, вновь утираясь желтым платком и слегка посмаркиваясь, — что все познается в сравнении. Не будь вас, мы — карлики — считали бы себя гигантами по отношению, например, к мухе. Не так ли? И кто возразит, что электроны-нейтроны бесконечны для познания? А ведь я побольше электрона, — посмеялся он. — Сколько душ на конце иглы? Или вы по-прежнему считаете это схоластикой? Но, — вновь вернулся он, — вы хозяева природы, а природа создала карликов, чтобы вы считали себя большими. В сравнении. Потому что появись великан, и все вы перед ним лилипуты. Кстати, вся теория относительности в этом. Эйнштейну совершенно излишне аплодируют. Но почему карликам не дано функции размножения? Наше себялюбие помогло бы нам размножаться с большой скоростью. Кто знает, какое качество возникло бы из количества карликов. Вы не устали? Еще пива? Ведь вы столько выпьете, что мне не унести. Деньги есть, не волнуйтесь. Зарплата у нас подходящая. Знаете первую заповедь? Если ты должен предать свой народ, чтобы спасти его, предай. А вторая? — Карлик еще раз показал широкий перстень: — Копи золото и жди сигнал...

В кафе вернулся мужчина, которого хотели избить парни. Я махнул ему рукой, он увидел и сел к нам. Он где-то успел ополоснуть лицо, вытирался рукавом и глядел по сторонам трезвеющими красными глазами.

— Ты этих парней знал?

— Впервые вижу.

— Вот твоя теория, — сказал я карлику, — количество этих мальчиков сильнее мужика, так?

— Это совсем другая теория, — радостно сказал он, — это вопрос стадности, я же говорил...

— Кепку мою не видали? — спросил мужчина.

Карлик спрыгнул со стула, быстрыми шажками сходил за кепкой.

— Спасибо, — сказал мужчина. — И только за то хотели убить, что нечаянно задел. Это уж до чего дошло? Я пришел выпить пива. Имею право.

— Д-да! — вскрикнул карлик.

Мужчина, будто впервые увидев его, долго смотрел.

— Ты какой размер носишь?

— Ой, только не надо! — заотмахивался карлик. — Только не говорите, что нам дешево жить, наши женщины, представьте себе (он адресовался ко мне), нуждаются в мохере не меньше других и не носят детских колготок...

— Я своей покажу мохер, — сказал мужчина. — У них, конечно, одним пивом не обошлось, — сказал он о парнях.

— Все спецзаказ, все индпошив! — продолжал карлик. — Это дорого. Это безумно дорого. Никто не представляет себе, как дорого.

— Пенсию-то какую-то должны вам платить, — сказал мужчина. — Одежда дорого, зато на еду мало идет.

— Вы еще сначала заработайте эту пенсию.

— Тебя же не поставишь камни ворочать.

— Перестань, — сказал я мужчине. Пододвинул ему нетронутую кружку.

Своим высоким голосом карлик стал говорить:

— Один энный, скажем так, человек нанимал меня для шпионажа...

Мужчина поперхнулся и долго кашлял. Я постучал мужчину по спине.

— ...для шпионажа. Он был страшный картежник, ставки бешеные, вначале он хотел нанять вертолет. Они играли в парке. Вертолет зависает над ними, вертолетчик смотрит в двенадцатикратный бинокль и по рации сообщает данные. Но неудобно: вертолет шумит, партнер может пересесть, сядет спиной. Вот тогда игрок решил использовать мой рост. Он взял большую спортивную сумку, посадил меня в нее, принес к месту игры. Но я все же не молекула, не атом. Вдобавок партнер сильно прижимал к себе карты. Так что мне даже ничего не заплатили.

— А знаешь, — воодушевляясь, сказал мужчина, — пойдем к тебе в гости. Пойдем к нему, — пригласил он меня. — Кровать, наверное, у тебя с этот столик. Или детская коляска? В ней и похоронят.

— Ничего интересного, — грустно ответил карлик. — Может быть, только перевернутая подзорная труба. Я смотрю через нее на улицы, и все вы кажетесь муравьями. Еще, может быть, набор говорящих кукол: президенты, их жены, прочий аппарат. Иногда я на них проигрываю очередную смену правительств. Но и это не редкость. Пожалуй, единственное, что у меня есть, — свеча. Абсолютно с меня ростом. Стоит на полу. Пламя на уровне моих глаз. Боюсь зажигать, ощущение шагреневой кожи, то есть... объяснить?

С прежним шумом в кафе вернулась прежняя компания.

Одни пошли за стаканами, другие сели и стали звать карлика.

— Я пойду, — сказал он, — с тем условием, что вы будете знать мой научный интерес. Шагреневая кожа, — разъяснил он напоследок, — это вся наша жизнь. Я маленький, кровь во мне обращается быстро, я сильнее чувствую, быстрее вижу, а вы наоборот, оттого мне любопытны ваши особи.

Он перешел к парням.

— Их по одному надо убивать, — сказал мужчина. — Ну, свяжись я с ними сейчас со всеми. И что? И не жилец.

Слышно было, как карлик высоким голосом спрашивал:

— Вопрос на засыпку: как звали карлицу в романе Пушкина «Арап Петра Великого»? Считать до трех? Бесполезно! Ласточка. Каков размер вершка? Вершок? Р-раз, два... три! Бесполезно. Сколько вершков были карлики, подаренные Голицыным (кто Голицын?) Петру Первому? Двенадцати! Стыдно, цари природы! Все цари имели карликов, вы и без карликов мните себя царями.

Мы еще посидели.

Надо было спросить карлика про театр лилипутов. Если их немного, они могут знать друг друга. И тот мужичок с ноготок? Который пас гусей. Да нет, это было давно.

Почему? Да потому

Рита Борисовна — зав. редакцией. Очень щепетильна, ведет на каждого автора карточки. Вся такая требовательная. Молодящаяся. С ней лучше не ссориться, выживет. Мы-то, редактора, имеем редакторские дни,

она ходит ежедневно, и возможностей для разговора о нас с начальством у нее много.

Она любит поэзию, возвышенная такая. На столике, напоказ, весь день лежат подруги в поэзии Ахматова и Цветаева. На ночь их запирает в редакционный сейф. Приходя на работу, выкладывает.

Но вот подружек потеснил Бродский. Глаза Рита Борисовна закатывает, цитируя: «Ни страны, ни погоста не хочу выбирать. На Васильевский остров приду умирать».

— Значит, не хотел выбирать, а все-таки выбрал? — поддевают Риту Борисовну.

По ее мнению, поэту, а значит, и ей наносится оскорбление. Встряхивает каштановой гривой и уходит курить в коридор.

Вдруг с утра смеется, заливается. Прочла у любимого поэта, как он ловко дополнил стихи Пушкина:

— Слушаете? «“Я вас любил безмолвно, безнадежно, то ревностью, то робостью томим. Я вас любил так искренне, так нежно, как дай вам Бог...”. Не даст!»

Сказать же Рите Борисовне, что это величайшая пошлость, цинизм и мерзость, даже подлость так поступать с Пушкиным, бесполезно. Да вы что, какой цинизм, это же великий Бродский.

И почему такое возможно? Да потому, что Бродскому, по мнению Риты Борисовны, все позволено. Это нам ничего нельзя.

— Ваш Бродский рекламировал в стихах презервативы! — говорят ей.

— Но в стихах же! — гордо отвечает она.

«Тебе с чем блинчики?»

На телевидении, в объединении «Экран», была сценарная мастерская. Гонорары там были приличные, но и мафия была еще та. Чужих не подпускали. Иногда, для очистки совести, давали и «чужим», то есть русским, заработать. У меня был приятель Анатолий М. Жив ли он, не знаю. Так вот. Судьба его была тяжелейшей. Талантливый, он был, по мнению редактуры «Экрана», очень вредным, так как не подгонял сюжет под идеологию.

А жена у него была еще вреднее, тоже на уступки не шла, гнала куда-нибудь в штат, на работу. Ходила даже в домоуправление и договаривалась, что его возьмут в дворники.

Сценарное наше братство было слабеньким, но вспоминалось, когда кому-то фартило, то есть брали в работу сценарий. Тогда мы шли к «камню», огромному железобетонному кубу у Октябрьской (Николаевской) дороги, и поздравляли товарища за его деньги.

И однажды Толе повезло неслыханно: сразу два сценария были приняты, и с ним заключили договоры. Толя отстегнул нам на пропой изрядную сумму, а сам извинился и поехал домой. Он хотел в такой день предстать перед женой в трезвом виде. Это его решение было нами принято очень положительно.

Но на следующий день он уже сам позвал нас к камню. Что случилось?

— А! — отмахивался он. — Она обалдела от денег. Не верила, что не украдены. — «Да вот тебе договоры, что еще?» Летала по комнате, всего настряпала. С утра сел, думал добить одну штуку. Она скребется: «Толечка, я блинчики сделаю. Сделать?» — Сделай. Через минуту: «Тебе с чем блинчики, Толечка?» — Да все равно. «Может, с вареньем». — Давай с вареньем. Через минуту: «А с каким вареньем?» — Да все равно. «Нет, ну почему, может, тебе лучше с черничным, для глаз же хорошо». — Давай с черничным. Опять идет: «А может, Толечка, с малиновым сиропом?» — Как это, а? — вопросил Толя. — Я вскочил, закричал: «Где метла, где мой участок?» — отшвырнул стул, и вот я здесь.

Соколко

То, что животные обладают разумом, это даже и обсуждению не подлежит. Дядя мой соглашался говорить о пчелах, если собеседник тоже, как и дядя, считал пчел умнее человека. Мама моя говорила с коровой, ругала куриц, если те откладывали яйца не в гнездах. Кот наш Васька сидел за обедом семьи на табуретке и лапой, издали, показывал на облюбованный кусок. Дворовая наша Жучка, завидев нас, начинала хромать, чтоб мы ее пожалели. Что уж говорить о лошадях, которых мы водили купать. Белесая Партизанка, худющая, с острым хребтом, выйдя на берег из реки, валилась на песок и валялась, чтоб ее снова запустили в воду, так ей нравилось купание.

Но как же я помню из своего детства одного песика, собачку по имени Соколко. Именно из своего детства, будто это песик был мой. А он из сказки Пушкина о мертвой царевне и семи богатырях. Когда царевна, отведенная в лес на погибель, приходит в дом семи брать-

ев, Соколко очень ей радуется, верно ей служит. И как он старается оградить хозяйку, как кидается на злую колдунью, дает понять царевне об опасности. Но царевна все-таки надкусила яблоко, у нее «закатилися глаза, и она под образа головой на лавку пала и тиха, недвижна стала». Вскоре героически умирает и верный Соколко. Он, бессловесная тварь, не уберег любимую хозяйку. Страдание его безмерно. Он отыскивает братьев в лесу, горестно воет, зовет их домой. Братья, чувствуя неладное, скачут вслед за ним. Спешились. «Входят, ахнули. Вбежав, пес на яблоко стремглав с лаем кинулся, озлился, проглотил его, свалился...»

Вообще, это величайшая сказка. Чернавка ведет царевну на съедение диким зверям, та просит ее: «Не губи меня, девица! А как буду я царица, я пожалую тебя». И на краю гибели царевна уверена, что станет царицей. Чернавка, пощадив царевну, оставляя ее на волю Божию (она именно так и говорит: «Не кручинься, Бог с тобой»), чернавка докладывает мачехе, что приказание выполнено, царевна привязана к дереву. Чернавка тут, надо думать, угождает мачехе, не смея осуждать жестокость приказа, даже успокаивая совесть незаконной царицы. «Крепко связаны ей локти, попадется зверю в когти, меньше будет ей терпеть, легче будет умереть».

Вырастая в обезбоженное большевиками время, мы не были оставлены Богом. Такие тексты, как эта сказка, исподволь действовали на нас. Ведь царевна, войдя в дом братьев, вначале «затеплила Богу свечку», а уж потом «затопила жарко печку». Это же поселялось внутри нас и влияло на душу. Когда умирает царевна, то не как-нибудь, а ложится на лавку «головой под образа». Когда отказывает в просьбе стать женой кого-либо из братьев, то говорит: «Коли лгу, пусть Бог велит не сойти живой мне с места. Как мне быть, ведь я невеста...»

А уж как ищет ее возлюбленный Елисей! И помогает ему не солнце, не луна, а ветер. Мы же все знали наизусть этот отрывок: «Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч...» Но что особенно важно, так это слова: «Не боишься никого, кроме Бога одного». Ветер рассказывает Елисею о пещере, где «во тьме печальной гроб качается хрустальный». Пушкинский, совершенно православный мотив — преодоление любовью смерти, изображение смерти как сна перед воскресением, здесь блистателен: «И о гроб невесты милой он ударился всей силой. Гроб разбился. Дева вдруг ожила. Глядит вокруг изумленными глазами...»

Вот ведь и в «Золушке» есть мотив волшебства и колдовства: превращение тыквы в карету, мышей в лошадей, но все как-то не по-нашему. В «Спящей царевне» колдовство — сила злая, преодолеваемая любовью.

«Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, — учили мы, — ты волнуешь сине море, ты гуляешь на просторе, не боишься никого, кроме Бога одного!» Учили, и дарвиновское понимание всесилия природы, атеистическая объяснимость любых явлений ее, отступало вот перед этой боязнью ветра. Могучий ветер боится только Бога. Ветер, ломающий деревья, топящий корабли. Еще далеко впереди было Священное Писание, буря на Галилейском море, утихшая по одному слову Спасителя, все было впереди. Но принять в сердце веру православную помогла русская литература. Особенно Пушкин. «И с невестою своей обвенчался Елисей». Не в ЗАГС пошли, обвенчались.

А как мой Соколко? А вот он не ожил. Как жаль, не умел говорить. Объяснил бы братьям, отчего умерла царевна. Пришлось на себе показать причину ее смерти. Соколко так любил царевну, так мучился своей виной, тем, что не уберег ее, то, конечно, как бы потом жил?

Если бы я стал вдруг снова мальчишкой, завел бы щеночка и назвал бы его Соколко.

Не о том думаю

В старости я дожил до унизительного состояния постоянных мыслей о том, где взять денег. Журналы, газеты, меня печатающие, гонораров почти не платят, сами нищие. От продажи книг наживаются только книготорговцы и немного издатели. Радио, телевидение — от них почти ни копейки. Какие-то грошики подкинули пара сайтов, и все.

Проснулся, лежу и соображаю: а ведь я в советские времена был как фабрика для своего государства. Такие доходы ему давал. Например: идет книга, тираж 50, 100, 150, бывало, и по двести, и по триста, и по пятьсот тысяч экземпляров тираж. Мне дают за авторский лист рублей триста, может, больше, тут сложная механика расчетов, но платили же. Но мой гонорар был ничтожен по сравнению с деньгами, которые получали государственное издательство и государственная книжная торговля. А «Роман-газета»? Там вообще тиражи зашкаливали. Допустим, стоит выпуск для читателей рубль, а их откатали три миллиона. Автору сунут пять тысяч, и гуляй. Но пять тысяч — это очень неплохо, ибо картошки килограмм стоил десять копеек, а всю семью на юг повезти, даже и с тещей, можно было и за тысячу.

Так вот, теперь это же, видоизмененное в области правления, государство оказалось очень неблагодарным. Я его озолотил, а оно меня обездолило. Пенсия

ничтожна, хотя стаж, даже официальный, при выходе на нее, у меня был сорок пять лет, и так мизерна, что стараюсь в сберкассу не идти хотя бы месяца два-три, чтоб чего-то подкопилось. А на что живу? Сам не понимаю. Пригласили куда-то, читал лекции, чего-то заплатили, так примерно. На шее у жены сижу. Тоже унизительно. Идешь к внукам: «Дедушка, а ты что нам принес?» И в самом деле хочется их всегда чем-то порадовать.

О-хо-хо. Задремываю. И в тонком сне представляется вдруг, как меня объедают могильные черви. Начиная со ступней и проделывая в них бороздки. Освобождают мой скелет от мягких тканей. Даже, кажется, переговариваются и советуют друг другу, где вкуснее объедать. И ловко же движется у них дело.

Просыпаюсь, вначале в ужасе крещусь, а потом думаю: «Слава Богу, вот ведь как благотворно меня Господь поправил, вот ведь о чем надо думать, а ты о деньгах, да обидах на государство, оно столько раз уже умирало и отмирало, а Россия жива, жива твоя душа. Слава Богу!»

А о книгах тоже договорю. Бывал в книжных хранилищах, видывал книги, в которых многоходовые катакомбы сделали очень живучие книжные черви. Небось, они, черви, и книжные, и человеческие, встречаются на своих симпозиумах и обмениваются опытом поедания. И авторов, и их произведений.

На почте

Сижу па деревянном крыльце почты, жду газеты. Старуха сидит рядом. Молчим. Подходит еще старуха, начинает медленно подниматься но ступеням. Увидев, что я встал, машет рукой и говорит: «Ой, да сиди-ко, сиди, еще насидишься, пока доползу».

Взошла и села. Почтальонка, увидев ее в окно, выносит ей открытку.

— Вот хорошо, Сергеевна, зашла. Мне хоть в такую даль не ходить.

— На-ко че вышло, — весело удивляется старуха, — еще и на письмо натакалась. Прочти-ка, Анют.

Подружка громко читает новогоднюю поздравительную открытку.

— Это ведь знаешь кто, — говорит Сергеевна, — это ведь Надя, постоялица. Больше ничего не пишет, поздравляет только?

— Как не пишет, пишет. Замуж, говорит, не вышла? Дак выходи.

Обе старухи хохочут.

— Выйти-то надо бы, могилу некому копать, да жениха-то нет.

— А Иван-то Николаич?

И снова обе смеются.

— Жени-их, — презрительно тянет Сергеевна. — Привез мешок ячменю. В кошевке катал, катал, не знает, как взять, как поднять. Я подхватила под одну руку, потащила. Он за мной идет, к женитьбе подговаривается. Жених! — без груза запыхтелся. Думаю, еще помрет у меня во дворе, взяла его под мышку, отнесла, положила в кошевку: «Поезжай, не надо». Откуда ему силу взять, тяжелей карандаша ничего не поднимал. А уж как берегся — будильника в жизни ни разу по завел, чтоб на работу не проспать. И за подол никто не тянул, ись не просил. И на войну, какую-то хворь представил, не ходил. Так, валиком, и прокатился. А все одно — завод кончается. Ой, — внезапно говорит старуха, — ведь надо Наде-то тогда ответить. Не попрошу ли кого написать?.

Я наслался помочь, старуха обрадовалась, купила открытку. Переписал с полученной открытки адрес;

— Пиши: «С Новым годом, Надя, не, давай уж с Рождеством, до Нового года не успеет. Спасибо, Надя, не забываешь, а свои забыли. Здоровье вовсе ни к чему, хожу только, чтоб видели, что живая, да за хлебом. Снегу мало, один лед, так и брожу ближе к краю».

— Это на открытке не уместится. Я вот тут остановился: «Свои забыли, а ты, спасибо, не забываешь».

— Ой, да это-то нет, не пиши. «Спасибо, Надя, здоровья желаешь. Ничего, пока еще шарачусь потихоньку. А вот от коровы отступилась. Летом приезжай, конечно, и парня привози, ты же это знаешь».

Кой-как улепив старухину диктовку, я подписал внизу фамилию и промокнул.

— Вот какая везетень, — радуется старуха, — писаря нашла. Так-то я на склад схожу, мне мужики пишут за папиросы. Тебе взять? Не куришь? А и правильно! Ой, не напишешь ли еще одну?

— Да хоть сколько.

— Хоть сколько-то некуда. А уж дочери надо.

Старуха покупает еще открытку, диктует адрес.

— «Здравствуйте, Надя, дочь-то тоже Надя, Леня, дети и сватья. Чего вы ничего не пишете, ровно умерли неживы...»

— Вначале напишу: «С Новым годом».

— Это конечно. «А нужна была, навеличивали, меду всегда наливала, не весила...» Но ты это не пиши, а пиши: «Пока, слава Богу, жива-здорова, за хлебом хожу

сама, а так больше никуда не хожу, корову порушила, одни курицы, доедают за мной. Завалинку не наладила, боюсь, весной вода подойдет. А приедете, молоко можно брать у соседей, даром нальют, всю жизнь моются в моей бане. Еще жила посторонняя женщина с ребенком, разведенная, им понравилось, просятся еще. Зовут тоже Надя. Навезла мне всего — и платье, и халат, и свое пальто, крепкое еще, и хватит мне всего до самой смерти. А еще кладу на книжку, сколь могу, и написала завещание на тебя, а приедешь хоронить и покажется мало, не обессудь. Была корова, так хоть кто литр возьмет, кто два. Старшего твоего я помню, а младшего совсем не знаю. Пошлите карточку, поставлю в рамку...» — Старуха увидела вдруг, что я не пишу. — Место кончилось? Ты как написал?

— Поздравление с Новым годом и чтоб приезжали.

— Верно, верно. Еще напиши заодно с Крещением, и с Благовещеньем. Раньше-то ответить не соберутся. Вот уж спасибо тебе! Так не куришь? Так, может, хоть пива кружку выпьешь?

Я отказался. Старуха стала расспрашивать меня, кто я, зачем я тут, и все поддакивала и спрашивала о местных родных, и когда я сказал, что тут родных у меня нет, то стала звать к себе в гости. «Хоть чаю попьем».

А я не пошел. А сейчас вот стыдно стало, вспомнил ее. Даже имени не знаю. Но Бог знает.

Продолжение следует.